

ЗВЕЗДА России

5 //

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ . 1947

ЗВЕЗДА Востока

ОРГАН СОЮЗА

СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

№ 5 | Объединенное изд-во „Правда Востока“ и „Кыл Узбекистан“ 1947

ЎЗБЕКИСТОН СОВЕТ СОЦИАЛИСТИК РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ ГИМНИ

ШЕР — ТЕИУР ФАТТОҲНИКИ, МУЗИКА — М. БУРҲОНОВНИКИ

Ассалом, рус халқи, буюк оғамиз,
Ассалом, доҳиймиз Сталин, жонажон.
Озодлик йўлини Сиз кўрсатдингиз,
Советлар элида ўзбек топди шон.

Бўл омон, пахтакор ҳур Ўзбекистон,
Сен Шарқда нурафшон юртим, топ камол!
Советлар байроби, зафар байроби —
Доимо баҳш этар сенга шон-иқбол.

Серқуёш ўлкада кўрмасдик зиё,
Дар'ёлар бўйида әдик сувга зор.
Барқ урди чин қуёш—Ленин доҳиймиз,
Йўллади Сталин—биз бўлдик баҳтиёр.

Бўл омон, пахтакор ҳур Ўзбекистон,
Бадавлат, фаровон юртим, топ камол!
Советлар байроби, зафар байроби —
Доимо баҳш этар сенга шон-иқбол.

Или / фан иури-ла йўлимиз равшан,
Абий қардошdir Совет хальлари.
Босинчи ёвларни этиб тору мор,
Боимиз биз янги зафарлар сари.

Бўл омон, пахтакор ҳур Ўзбекистон,
Енгилмас, қаҳрамон юртим, топ камол!
Советлар байроби, зафар байроби —
Доимо баҳш этар сенга шон-иқбол.

Государственный гимн Узбекской
Советской Социалистической
Республики



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Примерный стихотворный перевод)

О, привет тебе, Русь, братский наш народ,
О, привет тебе, Вождь, Сталин наш родной.
Ты к свободе пути проложил для нас,
Славу нашей стране дал советский строй.

Расцветай хлопка край, наш Узбекистан,
На Востоке зарей золотой сверкай.
Советское знамя победы,
Славой и счастьем страну осеняй.

В этом солнца краю в тьме народ блуждал,
Он, живя возле рек, без воды страдал.
Ленин — солнце земли, людям свет принес,
Сталин к счастью повел, счастлив край наш стал.

Расцветай хлопка край, наш Узбекистан,
С плодоносной земли урожай сбирай.
Советское знамя победы,
Славой и счастьем страну осеняй.

Мы лучами наук озаряем путь,
Наш Советский Союз вечным братством горд.
Всех захватчиков мы, всех врагов сметем,
И к победам вновь мы пойдем вперед.

Расцветай хлопка край, наш Узбекистан,
Все преграды сметай, наш геройский край.
Советское знамя победы,
Славой и счастьем страну осеняй.

Перевод С. Сомовой и
В. Луговского

Ход

Маэстро

f

Маэстро

Ас - са - лом,

РУС

КАЛ

КИ

СУ -

ЮК

О - FA - МИЗ

Ас - са - лом, до - хи - миз

Ста - лин -

мо - на - жон

- О - зод - лин йу - ли - ни Сиз

- КЯРСАТ-ДИН-ГИЗ, Со - вет - лар з - ли - да 93 - БЕН ТОП - ди шон

Сред

Violin

ff a tempo

бүл о-МОН, ПАХ - ТА - КОР ХУР үз ВЕ - КИС - ТОН, СЕН ШАР,

ДА ЧУР - АФ - ШОН ЮР ТИМ ТОП УА - НОЛ СО - ВЕТ - ЛАР БАЙ - РО - ФИ, ЗА - ФАР

БАЙ - РО - ФИ - ДОЛ - ИО БАХШ З - ТАР ГЕН - ГА ШОН ИН

ТАМОМЛАШ УЧУН

БОЛ 2 ОЕР КУ ШОН ИН БОЛ

(Ф)

А. КАХХАР

„ДВА ЧИНАРА“

Роман

Продолжение¹

КОЛХОЗ „ДВА ЧИНАРА“

Дехкане, обрабатывавшие в качестве арендаторов земли, начиная от Наймана и до самого Острова царевича, заселяли пять больших и малых низин, следовавших одна за другой по берегу реки и составлявших все вместе один кишлак, носивший название Капсанчи. Часть капсанчей после того, как басмачи разрушили водокачки, подававшие из реки воду для этих земель, по немногу разбрелась кто куда. Оставшиеся на месте, хотя в те времена в народе уже говорили, что „земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает“, не решаясь считать своей „недвижимость“, на которую нет „купчей крепости“, каждый год засевали эти земли кое-как — кто шпеницей, кто ячменем, и собирали урожай с большой опаской, будто совершили воровство.

В один год, это было незадолго до земельной реформы, разлилась река, и больше половины посевов капсанчей погибло от наводнения. В следующем году разразилась небывалая засуха, и все поля выгорели. Хотя советская власть и оказывала большую помощь, в эти годы разбежалась еще часть капсанчей, и в кишлаке после этого вместо пяти общин осталось только три: Два чинара, Лагушинский заповедник и Низина куги, которые были отделены друг от друга лишь невысокими холмами. Все оставшиеся капсанчи собрались в этих общинах потому, что земли здесь считались более удобными. Переселиться из одной общини в другую ни для кого

¹ См. „Звезда Востока“, № 1, 2-3 — 1947 г.

из капсанчей не составило особого труда, так как жилища их представляли из себя всего-навсего вырытые в обрывах землянки. Таким образом, перед земельной реформой в кишлаке капсанчей оставалось менее ста дворов. Землю, однако, получили не сто, а сто сорок один двор. Просыпавшись о земельной реформе, в кишлак вернулись те из откочевавших ранее капсанчей, которые перебивались неподалеку, в этой же округе.

Как только капсанчи обрели землю, они тут же обрели и язык. Они заговорили о воде. Считая, что не может быть положения более смешного, чем сидеть на берегу великой реки и выжидать, когда с неба упадет хоть капля влаги, они сами подсмеивались над собой, выдумывали всякие анекдоты и поговорки.

Активисты, выявившиеся во время земельной реформы и группировавшиеся вокруг кишлачного совета, обратились с заявлением сначала в районный исполнительный комитет, а затем в Управление водного хозяйства области. В тот же год поздней осенью из города к капсанчам прибыли две девушки и один старик; они с недели ходили по полям, что то вымеряли, высчитывали и уехали. А зимой приехал сам председатель районного исполнительного комитета. Он осмотрел развалины водокачки в Низине куги, прежние, когда-то действовавшие арыки и предложил созвать на вечер собрание активистов. Просыпав, что речь будет ити о воде, на собрание пришли все — и старые и малые, и мужчины и женщины — весь кишлак. Площадка между четырьмя стенами разрушенной водокачки оказалась доотказа заполненной народом. Председатель сообщил, что районный исполнительный комитет, идя навстречу желаниям кишлачного общества, принял решение восстановить одну водокачку, что для этого уже выделены необходимые средства и в Ташкент послан человек за инвентарем и материалами. Хотя пытаться обеспечить водой, при помощи одной водокачки, нужды ста сорока одного хозяйства было равносильно попытке черпаком напоить верблюда, для капсанчей, которым даже зеленый лук приходилось покупать на базаре, и это было уже большой помощью. Услышав добрую весть, капсанчи были нескованно обрадованы. Молодые усердно хлопали председателю в ладоши, старики возносили за него молитвы. Когда председатель под конец призвал всех дружно взяться и быстро выполнить все, что потребуется от общества, капсанчи, как один, ответили: «Выполним!»

Первая задача, которую предстояло решить капсанчам, состояла в том, чтобы доставить к водокачке с места обжига тридцать пять тысяч штук кирпича и перевезти от Золотого родника двадцать арб песку. Капсанчи заявили, что они готовы перенести все это хотя бы на своих плечах. Однако, когда подошли к обсуждению второй задачи — подправить старые арыки и провести новые, причем не откуда-нибудь, а начиная от водокачки в Лягушином заповеднике, среди народа получился разброд. Все собравшиеся разделились на три группы, и каждая из этих групп желала, чтобы была восстановлена ближайшая к ее землям водокачка. Когда споры разгорелись, кто-то крикнул: «Чем строить в Низине куги,

лучше совсем не строить!». В ответ послышался возглас из другой группы: „Если построят в Двух чинарах, мы ее по кирпичу разнесем!”

Но как бы там ни было, в конце концов все же было решено восстановить водокачку в Лягушином заповеднике. Внешне капсанчи пришли как будто к согласию и дали председателю районного исполнительного комитета слово закончить работу как можно быстрее.

Председатель кишлачного совета переписал имевшихся в кишлаке лошадей, ишаков, волов и через два дня начали возить кирпич и песок. Дело, однако, подвигалось очень медленно: не говоря уже о людях из Двух чинаров и Низины куги, даже те, что жили в Лягушином заповеднике, больше интересовались не количеством вывезенного за день кирпича или песку, а тем, чей конь, ишак, или вол сделал больше ходок, и каждый придумывал тысячи разных хитростей и уловок, чтобы его скотина была в работе как можно меньше. Председатель кишлачного совета ходил по дворам, беседовал чуть ли не с каждым в отдельности, упрашивал, но это мало помогало делу. Работа, рассчитанная на неделю, растянулась ровно на сорок шесть дней. А сколько было за это время скандалов! Трое из двухчинарцев даже сядили с жалобой в районный варти, но, прибыв в район, не смогли придумать, как и на что жаловаться, посидели на корточках у подъезда, пожевали нас¹ и вернулись ни с чем.

Как только была закончена доставка кирпича и песку, из района прибыли мастера-строители, и работа по восстановлению водокачки была начата.

При восстановлении арыков капсанчи показали себя еще менее дружными. Ни один из них, и в первую очередь люди Лягушиного заповедника, за пределами своего участка не желал лишний раз кетменем взмахнуть. Так как и это дело очень затянулось, то президиум районного исполнительного комитета счел необходимым послать на строительство своего представителя. Прибыв в кишлак капсанчей, он провел собрание активистов, разбил всю трассу на небольшие участки и, поставив во главе каждого участка активиста, вручил ему поименный список людей его бригады. После этого дело заметно двинулось. Во всяком случае, ко времени окончания работ по восстановлению водокачки арыки были готовы.

Торжество открытия водокачки превратилось в большой праздник. Молодежь веселилась, старики, расположившись в только что открытой чайхане, толковали о восстановлении других водокачек, о будущем кишлаке, дети суетились у арыков, пускали по воде лодочки и тут же закусывали черствым хлебом, макая его в пенящуюся, еще мутную воду. Все радовались, все были довольны, все казались друг другу чуть ли не родными, прежние ссоры и размолвки были забыты.

Этого согласия и дружбы хватило, однако, ненадолго. Весной

¹ Нас — жевательный табак.

среди капсанчей снова пошли раздоры. Один из жителей Лягушиного заповедника — он жил ближе всех к голове арыка — вздумал на участке, выделенном под овощи, посеять хлопок. По его расчетам, хлопок, который можно было вырастить на этом участке, должен дать дохода больше, чем все овощи и весь урожай в других местах надела, вместе взятые. Он хоть и опасался нареканий соседей, что на хлопок пойдет много воды, решил все же пойти на риск. Об этой затее узнал его сосед: он крепко обругал себя за то, что не догадался об этом раньше, и впопыхах засеял хлопка раза в два больше. Вслед за ним засутился весь Лягушиный заповедник. Один очень расчетливый и рассудительный дехканин, приготовив семян целиком на весь свой надел, решил прежде испытать, что скажут люди из Двух чинаров и Низины куги, — смолчат или запротестуют. Он в один день обошел всех соседей. Вечером того же дня произошел большой скандал. Посевшие хлопок вынуждены были дать обещание — сверх нормы не брать ни одного глотка воды. Такое условие заставило жителей Лягушиного заповедника задуматься. Многие отказались от посева вовсе, так как их наделы были на высоких местах, и хлопок там потребовал бы по меньшей мере семь — восемь поливов.

Когда хлопок подрос и стало видно, что он даст хороший урожай, тех из Лягушиного заповедника, что весной струсили, стала точить зависть. Стесняясь по-соседски сказать что-либо сами, они при каждом поливе натравливали на хлопкоробов жителей Двух чинаров и Низины куги. По этой причине произошло немало скандалов, а однажды дело дошло даже до кулаков.

Будто на зло всем остальным капсанчам, хлопок рос на удивление хороший. Хлопкоробы ходили за каждым кустом, как за малым ребенком. Соседи же, наоборот, всячески старались оставить хлопок без воды и, если даже вода им не требовалась, из за каждого полива поднимали скандал и лезли чуть не в драку.

Когда хлопок зацвел, хлопкоробы вынуждены были нарушить свое обещание „не брать ни глотка воды сверх нормы“. Последствия этого не замедлили сказаться: проснувшись однажды, они обнаружили, что изрядная доля хлопка на каждом участке сжата. Никак нельзя было подумать, чтобы на такое дело мог решиться кто-нибудь один. И действительно, к вечеру того же дня выяснилось, что в этом деле принимали участие семь человек, и все они оказались из Двух чинаров. В отместку чинарцам пострадавшие хлопкоробы в ту же ночь наполовину уничтожили их бахчи. Произошел очень большой скандал; из района приезжала специальная комиссия; дело дошло до суда.

И все же осенью, сняв хороший урожай, капсанчи ожили. Каждый из них чувствовал себя достигшим своих желаний и о лучшей жизни даже и не мечтал.

В это самое время началось колхозное движение.

В Острове царевича и Пяти козлах — в каждом по одному — организовалось два колхоза, и капсанчам было известно, что в колхозах земля и вода становятся общими, власть дает колхозам

тракторы и другие машины, колхозы сеют хлопок и получают большой доход, весь доход делится между членами колхоза... Однако никто из капсанчей, не сумевших в свое время сохранить согласие при одной общей водокачке, не мог себе и представить, как они будут жить, когда станет общей земля. К тому же со всех сторон стали приходить вести, будто каждый, кто вступает в колхоз, должен кинуть на общий круг все, начиная от земли, до дома с приусадебным участком, от жетменя — до рабочего скота, от козы — до курицы. А это капсанчам и вовсе не понравилось.

В один из дней из района прибыли представители и созвали капсанчей на общее собрание. На площадь у водокачки пришли все, даже больные. Одни из представителей стал подробно описывать жизнь капсанчей в прошлом и, видно, хорошо знал историю кишлака, но его почти не слушали. Всем хотелось поскорее узнать, насколько верны ходившие в народе слухи, и все ждали, когда он заговорит о колхозе. Оратор заговорил о земельной реформе; он насмешил всех, напомнив, как некоторые вначале отказывались получать „из рук человека землю, которую не дал им бог“, потом сказал: „Вот, бывают такие люди — пока не возьмешь его за ухо и не ткнешь носом в еду, он и рта не раскроет“.

С собрания капсанчи разошлись повеселевшие и усталые.

Хотя многое им было еще неясно, большинство капсанчей чувствовали, что не вступить в колхоз, значило лишиться чего-то большого, многообещающего, но когда дело дошло до вступления, перед глазами каждого вставали то собственная молочная коза и рядом соседская — немолочная, то собственный двор с одним деревом урюка и рядом пустые дувалы соседского двора, и они начинали раздумывать. Ко всему этому каждый из них был убежден, что объединить такой недружный народ, как капсанчи, никакими путями невозможно, что, мол, лепешку из кукурузной муки еще кое-как слепишь, но колхоза из капсанчей никак не сделаешь. Кое у кого появилась мысль: „А что, если люди с равным имуществом, подходящие по характеру, соединятся, но не в колхоз, а так, вообще станут вместе землю обрабатывать?“ Однако от этой мысли они сами отказались, потому что в этом случае трактор больше разъезжал бы от делянки к делянке, чем пахал землю“.

В конце концов — одни нерешительно, другие на риск, одни в уверенности, что „власть наша не начнет дела, которое было бы во вред дехканству“, другие, следуя примеру родственников, друзей, приятелей, — большая часть капсанчей вошла в колхоз. Вступать собирались было уже и остальные, но в это время в Кишлаке Ходжей¹ вспыхнули беспорядки, и это напугало их, потому что вместе с кулаками против колхозов выступили и некоторые из дехкан-бедняков. Пока выяснилось, что выступление это ничто иное, как бунт кулаков ходжей, использовавших в своих целях ошибки местных руководителей, оставшиеся среди капсанчей единоличники начисто оголили свое хозяйство: что можно было съесть — съели,

¹ Ходжа — потомок арабов-загоевателей.

что нельзя было съесть — распродали по дешевке. Бунт в Кышлаке Ходжей и такое поведение единоличников заставили призадуматься и колхозников. У них ни на что не поднимались руки, и они упустили самое горячее время весенних полевых работ. Из скучного урожая, какой получили капсанчи по осени, часть была разворована, потому что в колхозе не было учета, а остальное было разделено поровну на души. В результате, к концу зимы людям подтянуло животы, лошади скалили зубы при одном виде арбы, а остальная скотина стала такой, что не подними за хвост, не встанет. Такое положение среди колхозников вызывало недовольство, а среди единоличников рождало новые сомнения.

Недостаток продовольствия, который начал ощущаться еще в середине зимы, продолжался до самых тех пор, пока не созрел ячмень. К этому времени многие колхозники, забросив колхозные дела, занялись ловлей рыбы в реке и продажей ее на базаре в Холме святого. Председатель колхоза сам видел их на базаре и слышал, как они выкрикивали: «Эй, вот рыба, жирная рыба!», но, стесняясь сказать что-либо по-соседски своим из Низины кути, он вынужден был молчать и перед другими.

Так как о сельшине было объявлено поздно, а дело учета все еще продолжало хромать, то колхозники остались недовольны и в следующую осень. Распри, возникшие при распределении доходов, затянулись до половины зимы и кончились отстранением от должности председателя. Выборы нового председателя явились, однако, причиной еще больших раздоров. Колхозники снова разделились на три группы, и каждая группа желала иметь председателем своего человека. Так как споры затянулись надолго, то капсанчи сочли более подходящим обратиться в районные организации с просьбой о назначении им председателя со стороны. Районные организации рекомендовали им некоего Урман-джана Аманова.

Урман джан Аманов — до этого председатель совета урожайности в колхозе «Красный джекапин», организованном в Таволожьем Поле вскоре после земельной реформы из бывших батраков, был человеком, немало потрудившимся над тем, чтобы вывести свой колхоз из поры младенчества, какую теперь переживал колхоз капсанчей. Секретарь районного комитета партии Ахмедов вызвал к себе Урман джана и, будто между прочим, спросил, знает ли он кишлак Капсанчи. Урман-джану приходилось слышать о кишлаке с таким диковинным названием, но самого кишлака он не знал. Ахмедов поведал ему всю историю кишлака, начиная от времен князя и ишана, подробно сообщил обо всех больших и малых событиях последнего времени и под конец сказал: «Мы вас заметили председателем колхоза в этом кишлаке». Урман-джану не хотелось менять спокойное, обжитое место на новое, неспокойное, но он очень уважал Ахмедова и потому не стал противоречить.

Через неделю капсанчи, собравшись у водокачки, единогласно избрали Урман-джана своим председателем и с таким подъемом сами встретили это избрание, словно каждая группа торжество-

вала над своими соперниками. А через несколько дней Урман-джан, захватив самое необходимое в хозяйстве, переехал с семьей к капсанчам и поселился в Низине куги в полуразрушенном здании бывшей водокачки.

Помещения для правления колхоза не было. Капцелярия находилась там, где располагался, поджав под себя ноги, секретарь, имевший привычку писать с маленькой буквы фамилии людей, которые ему чемнибудь не угодили. Дело учета было в руках счетовода, который почему-то всегда носил при себе рулетку и ходил с большими счетами, хотя сам на них считать как следует не умел. Складом заведывал непомерно толстый, но верткий и при хольбе по-кошачьему мягко ступавший человек по имени Таджи-бай. Капсанчи знали, что он не чист на руку, но молчали, считая, что он сторонний человек, и если и попользуется чем — ничего, пусть лучше попользуется сторонний¹. Только сочинили про него анекдот: «Таджи-бай, будучи ровно шести пудов и двенадцати с половиной фунтов весом, каждый день в полдень, будто бы, взвешивает себя на „ползучих весах“². Если весы показывают ровно шесть пудов и двенадцать с половиной фунтов, он тихонько сходит с весов, поднимает глаза к небу, закрывает их, показывает белые зубы и трасет большим животом, иначе говоря, смеется; если же весы показывают меньше, он бледнеет, вбегает в амбар и тут же что-нибудь начинает есть.»

Колхоз был похож на двор, куда только что переселился новый хозяин: все разбросано, люди разговаривают так, словно они устали и чем-то недовольны.

Урман-джан около десяти дней провел за тем, что днем обезжал и осматривал поля, а вечерами, чтобы иметь возможность побеседовать с колхозниками, особенно со стариками, сидел в чайхане. Первое время люди боялись разговориться с ним открыто и когда он подходил, умолкали. Однако так продолжалось недолго. Вел он себя чинно, спокойно и уверенно, словно знал что-то такое, что не было известно капсанчам и, главное, в разговоре никогда никою не переоценивал, особенно старших. Скоро в чайхане все стали собираться вокруг Урман-джана, и если он день два отсутствовал, даже скучали без его беседы.

Во время одной из таких бесед кто-то из присутствующих вспомнил о разливе реки, который был перед земельной реформой. Вода тогда залила свыше шести тысяч танапов посевов, и если бы из Ташкента не были в свое время доставлены девятнадцать лодок, пожалуй, не обошлось бы и без человеческих жертв. Один старик рассказал, что в наводнение, которое случилось незадолго до германской войны, утонули две свиньи князя и один из капсанчей. Другие припомнили, что такие же наводнения были в год появления чумы, потом в тот год, когда белый палишах огнем из пушек сравнял с землей кишлак Тысячи холмов, и раньше. Урман-джан прикинул, и оказалось, что наводнения повторяются

¹ Десятеричные весы.

примерно через каждые десять лет. Иначе говоря, оно должно было повториться, если не в эту весну, то весной будущего года, и смеши колхоз капсанчей, и без того, словно новорожденный ягненок, еле державшийся на ногах.

Урман-джан скрыл от других свою догадку и, никому ничего не сказав, на второй день с утра объехал и осмотрел весь берег реки, начиная от Низины куги и до Двух чинаров. В полуверсте выше Лягушиного заповедника он обнаружил две широких балки — одну шириной в сто пятьдесят, другую в две с лишним сотни шагов, — которые начинались у самого русла реки и, без всякого сомнения, служили выходом для полой воды. Чтобы перегородить эти две балки дамбами, надо было всему кишлаку капсанчей работать самое малое три месяца. Урман-джан тут же выехал в район и пошел прямо к Ахмедову.

Ахмедов встретил Урман-джана приветливо, но, когда он заговорил о предстоящем наводнении и о дамбе, резко вскинув брови, прервал его и сказал, что поднимать сейчас разговор о наводнении и о дамбе, значит нанести колхозу такой вред, какой не могло бы принести самое сильное наводнение. Оказалось, — ему было известно, что наводнения повторяются через каждые десять лет и, больше того, он знал, какую площадь залило и сколько принесло убытков последнее наводнение, и имел уже свои планы насчет строительства дамбы.

Прощаясь с Урман-джаном, Ахмедов напомнил: „В этом году о наводнении и дамбе и рта раскрывать нельзя!“ — и успеваясь добавил: „А если колхоз будет оставаться в таком же положении и дальше, то нельзя будет сказать и в будущем году. Потому что люди голодные. А для голодного лучше требуха под рукой, чем жирный курдюк вдалеке. Если вы сейчас станете говорить о дамбе, люди ваши забросят колхозные дела и все примутся ловить рыбу. Что им оберегать от наводнения? Землянки? Или посевы, которые сейчас приносят дохода меньше, чем рыбная ловля?“

Из района Урман-джан возвратился с новыми планами в голове. С недели он обдумывал, готовился, потом созвал заседание правления колхоза. Первое, что он предложил, это засеять все земли Лягушиного заповедника хлопком, и второе — перестроить заново все колхозные бригады. Так как капсанчи уже много лет не сеяли хлопка, а большинство их не сеяло его вовсе то Урман-джан считал необходимым создать хлопководческие бригады из людей, хоть сколько-нибудь знакомых с обработкой хлопчатника, и поставить во главе их опытных стариков. Предложение о посеве хлопка все члены правления нашли очень подходящим, однако определение участка и создание хлопководческих бригад вызвали много споров. Все понимали, что земли Лягушиного заповедника самые подходящие для хлопка и что теперь в колхозе нет никаких причин для раздоров, и все же предложение использовать участок Лягушиного заповедника вызывало зависть у людей Двух чинаров и Низины куги. Когда стали составлять списки хлопководческих бригад, каждый член правления изо всех сил старался

протащить в эти бригады своих знакомых, друзей, приятелей. Но, как бы там ни было, предложение Урман-джана в конце концов все же было принято. Предстояло обсудить этот вопрос на общем собрании.

Было совершенно очевидным, что определение участка³ под хлопок и утверждение состава бригад, вызвавшие столько разговоров на правлении, на общем собрании явятся причиной еще более горячих споров. Втолковать всем простую истину, что доход будет все равно общим, где бы хлопок не посеяли и кто бы в хлопководческих бригадах не работал, было трудно. Поэтому Урман-джан, прежде чем созывать общее собрание, долго думал и наконец нашел выход.

Когда в кишлаке Капсанчи организовался колхоз, ему не было присвоено название. В официальных документах писали: „Колхоз Капсанчей“. Этим и решил воспользоваться Урман-джан. Дать колхозу новое название было необходимо. Снять с людей позорную кличку побирушек — разве это не должно было зародить у них надежду на лучшую жизнь! Урман-джан был уверен, что будет именно так. В то же время у него были и другие соображения. Урман-джан рассчитал, что, если он предложит назвать колхоз „Два чинара“, то этим удовлетворит самолюбие чинарцев и, в то же время, предупредит выступления людей из Низины куги, которые в общественных делах обычно следовали за жителями Двух чинаров. Так Урман-джан и сделал: на общем собрании он первым поставил вопрос о названии колхоза. Кто-то предложил: „Надежный“. Урман-джан не согласился. „Радость труда“ — предложил еще кто-то, но Урман-джан возразил: „Мы еще и не трудились как следует, и радости пока не видели“. Были и другие предложения, но Урман-джан под тем или иным предлогом все их отклонял. Наконец, когда все умолкли, он предложил: „Два чинара“. Против такого названия выступил один колхозник из Низины куги, но Урман-джан ехидно спросил у него: „Что ж, может быть, назовем „Низина куги“? — и тем заставил его замолчать. После этого из Лягушиного заповедника и вовсе никто не решился заняться. В самом деле, не называть же колхоз „Лягушиным заповедником“. Таким образом, название „Два чинара“ было принято.

После этого Урман-джан поставил на обсуждение основные вопросы: организация посева хлопка на колхозном участке „Лягушиный заповедник“ и организация хлопководческих бригад. Оба вопроса прошли так гладко, что члены правления, которые участвовали в предварительном их обсуждении и готовились выступить в защиту предложений Урман-джана, были смущены — в их выступлениях не оказалось никакой надобности.

Капсанчи еще никогда не были такими дружными, и это привнесло свои плоды во время весенних работ. Чтобы поддержать у колхозников уверенность в хороших результатах начатого дела, Урман-джан в качестве „первой лепешки из только что замешан-

шного теста" получил согласно договора аванс и тут же раздал его колхозникам.

Люди стали более организованными, сплоченными, дело было начато. Теперь надо было руководить этим делом, навести порядок в колхозном хозяйстве. Нужно было подобрать работоспособное правление, гибкий аппарат. Этими вопросами Урман-джан занимался все лето. Он так поставил работу правления, что два его члена, не справившись с возложенными на них обязанностями, сами подали заявления с просьбой их освободить. Секретаря, счетовода и еще несколько человек из молодежи Урман-джан отправил на шестимесячные курсы, взяв на это время всю тяжесть работы на свои плечи.

Именно в эти трудные дни, возвратившись как-то к себе домой, Урман-джан узнал, что заведующий складом Таджи-бай доставил ему на дом барана и отрез бекасама¹. Урман-джан усмехнулся и, тут же вызвав к себе Таджи-бая, сказал ему: «Бекасам свой носите сами. А барана кормите до осени. Хорошенько кормите! Когда снимем урожай, устроим той, и тогда вы его своими руками зарежете. Это — первое. Второе: с сегодняшнего дня вы освобождаетесь от заведывания складом, ключ от амбара передайте Эгамберды. Третье: я вам дам еще двоих таких же, как вы, крепких йигитов, втроем вы должны до осени заготовить вот в этих зарослях пятьсот сорок саженей дров. Только смотрите, не рубите в разных местах, а рубите подряд, чтоб земля освобождалась. На будущий год нам потребуется площадь под пшеницу. Поняли? Пятьсот сорок саженей!»

Таджи-бай не посмел даже рта раскрыть, забрал бекасам, барана и ушел.

По осени баран Таджи-бая действительно пригодился: кансанчи после снятия урожая спрявили той и, безусловно, имели для этого все основания — они крепко потрудились весну и лето, зато и урожай сняли против прежнего невиданной.

Через день после той Урман-джан выехал в район. Председатель районного исполнительного комитета поздравил Урман-джана с хорошим урожаем, извинился, что не смог приехать на той, и протянул ему пачку газет. Перелистывая газеты, Урман-джан увидел в одной из них большую статью под крупным заголовком: «Наводнение». В статье говорилось о повторяющихся через каждые десять лет разливах реки в районе кишлака кансанчей, о том, что предстоящее наводнение может затопить почти все посевы колхоза «Два чинара» и много посевов соседних колхозов и принести им большие убытки. Сообщая о мерах, предпринимаемых местными властями по борьбе с паводком, газета призывала колхозников сельхозартелей «Два чинара», «Рабочий», «Пятилетка», «Красная сила» и «Путь Ленина» принять участие в строительстве дамб.

¹ Бекасам — полушелковая ткань кустарной выделки с разноцветными продольными полосами.

Когда Урман-джан, возвратившись к себе, созвал общее собрание и зачитал эту статью, старики, выдавшие на своем веку не одно наводнение, в один голос заявили: „Эту газету выпустил человек со здоровыми мозгами, все, что в ней сказано, правильно!“ Собравшиеся приняли решение: выйти на хошар¹ дружно, всем колхозом.

Работа по возведению дамбы была начата после распределения доходов и закончена следующей весной перед выходом на пахоту. Дело это оказалось очень трудным, и колхозникам пришлось перенести за зиму немало невзгод.

Тут-то некоторые из каспансов не выдержали и покинули колхоз. Люди настолько устали, что после окончания строительства дамбы даже никакого торжества не было устроено. Однако праздник начался сам по себе, когда через полтора месяца в реке стала подниматься вода. В тот день все жители кишлака каспансов вышли на дамбу и веселились до самой полночи. У ног их тихо несла свои воды покоренная река.

Приподнятое настроение, которое родилось после этой победы, сохранялось в течение всего лета. Каждый из колхозников, где бы и чем бы он ни был занят, чувствовал себя в силах преодолеть любую трудность, выполнить любое дело.

Зимой районный исполнительный комитет и районный комитет партии вынесли решение о строительстве канала. Канал должен был дать воду не только каспансам, но и еще одиннадцати колхозам округи. Это решение придало людям уверенность в том, что „солнечко“ скоро и в самом деле пригреет им спины по-настоящему, и они, наконец, выберутся из своих вор на поверхность земли, которая станет обильной и щедрой, и поэтому весной, когда начались работы по строительству канала, на хошар из одиннадцати колхозов в первый же день вышло две тысячи трехсот человек. Люди работали с таким увлечением, с такой энергией, какой не ожидал ни один из колхозных руководителей. Каждый человек, работал ли он кетменем, носил ли он землю носилками или мешком, труился так, словно торопился откопать клад.

К тому времени, когда в колхоз пришел Сыдык-джан, канал был уже почти готов. Оставалось на неделю работы на плотине.

К НЕЗНАКОМОМУ КОНЮ СЗАДИ НЕ ПОДХОДИ

На рассвете жена председателя разбудила Сыдык-джана и сказала, что Урман-джан прислал за ним человека. Сыдык-джан вскочил с кровати и, хотя под навесом было еще темно, постеснявшись, как бы женщина не увидела его с заспанным лицом, поспешил выйти наружу, даже не спросив, где находится Урман-джан.

Снаружи Сыдык-джана поджидал мальчик лет десяти-двенадцати. Мальчик, как только увидел его, молча повернулся и зашагал

¹ Хошар — общественная помощь.

к дороге. Протирая полой яхтака¹ глаза, Сыдык-джан направился за ним.

По дороге, которая пролегала между густыми зарослями камыша и мелколесья, они через некоторое время вышли на пологий холм. Перед глазами Сыдык-джана открылась довольно обширная долина, окруженная грядой высоких и низких холмов, по склонам которых тянулся невообразимый лабиринт горбатых старых дувалов; между дувалами виднелись покосившиеся камышевые крыши, одиноко торчали редкие деревья, зияли черные провалы разрушенных землянок. Сыдык-джану вспомнился рассказ Курбан-ата о кишлаке капсанчай и он стал приглядываться ко всему более внимательно. В жарком утреннем тумане каждая из хижин, ютившихся между дувалами, казалась ему еще более неприглядной и жалкой, чем даже землянка Фарманкула в описании старика. И когда Сыдык-джан подумал что, оставшись в этом колхозе, он вынужден будет жить в одной из таких хижин, по телу его пробежала дрожь.

Когда они спустились с холма из-за сложенных неподалеку от дороги бунтов бердан и штабелей леса заржал конь. Через минуту оттуда показался Урман-джан.

— Хош-хош,² — встретил он Сыдык-джана. — Ну как, выспался? А если и не выспался, — ничего. Довольно быть гостем. Надо немного помочь. Людей нехватает. Кто на арыке, кто на поле... Отвезешь арчи к плотине. Хорошо?

Сыдык-джан не успел раскрыть рта, как из-за бердан и штабелей леса выехал на арбе пожилой, лет пятидесяти, человек с маленькой козлиной б родкой, одетый почему-то в черный яхтак. На арбе лежало несколько мешков — полных и занятых наполовину — и много всяких узлов и узелков. Человек в черном халате сошел с коня, поздоровался с Сыдык-джаном и протянул ему камчу.

Сыдык-джан стоял, не зная, что делать.

— Ну, садись, — сказал Урман-джан, заметив его нерешительность. — Поедешь прямо по этой дороге. Сейчас ты в Низине куги. Немного проедешь, — будет другой наш город — Лягушиный заповедник. За ним — развилка. Ты повернешь налево. Немного проедешь, — будет третий наш город — Два чинара. Там у дороги тебя поджидает одна женщина. Она поедет с тобой дальше. Если навстречу попадется трактор или автомобиль, сейчас же сворачивай с дороги, слезай с коня и покрепче бери его под уздцы.

Возразить что-либо человеку, который доверял ему лошадь, арбу и столько добра, Сыдык-джан постеснялся. Он сел на коня и выехал на дорогу.

— Я тебе и дом уже подыскал! — крикнул ему вслед Урман-джан.

Сыдык-джан резко обернулся.

— Какой, где? — спросил он испуганно.

— В Лягушином заповеднике! Лягушиный заповедник — место

¹ Яхтак — легкий халат без подкладки.

² Хош хош — тек-так.

хорошее, по дороге сам увидишь. Поезжай, дом я тебе потом покажу!

Сыдык-джан так растерялся, что не нашел что ответить, и стегнул камчей коня.

На востоке заполыхала заря. Затем первые лучи солнца подкрасили край облака, которое темнело на горизонте, и берег реки. Далекое плоскогорье за рекой заселено, тени на нем принали голубоватый оттенок. Потом поднялся ветер, затрепетали листья на кустарнике, заколыхалась трава у дороги, по начинавшему желтеть ячменному полю пошли волны. Сыдык-джан, однако, ничего этого не видел. Занятый своими мыслями, он не заметил даже, как миновал Лягушиный заповедник. Понял он это только тогда, когда копыта коня и колеса арбы застучали по досчатому мосту на выезде из кишлака.

Сыдык-джан не собирался ни оставаться в колхозе, ни жить в доме, который выбрал для него Урман-джан, и все же ему захотелось посмотреть эти места. Он остановил коня и, привстав на оглоблях, оглянулся. Лягушиный заповедник, как и говорил Урман-джан, в самом деле выглядел более благоустроенным, чем Низина куги. Деревьев здесь было гораздо больше; обрушившихся землянок не видно. В центре низины виднелось похожее на большую беседку строение с белыми колоннами, разукрашенными кумачом, — видно красная чайхана.

Подумав о чайхане, Сыдык-джан вспомнил, что еще не пил чая, и почувствовал голод. В поисках чего-либо съедобного он перебрался на арбу и принял ощупывать мешки и узлы. В одном мешке оказалась кукуруза, в другом — бобы; затем полмешка муки, мешок огурцов; в большущем узле была старая попошенная обувь, в другом, поменьше — стиранное белье, в мелких узелках были нас, курительный табак, мыло и много других мелочей; в небольшой сумке оказалось штук пять-дцать плиток фруктового чая и, наконец, в сумке побольше — с пуд сахарного песку. Сыдык-джан зачерпнул пригоршню сахара и высыпал его в рот. Сахар тотчас растаял, сладкая слюна, нисколько не утолив голода, проскользнула в горло. Сыдык-джан зачерпнул вторую пригоршню. Когда он во второй раз подносил сахар ко рту, у него промелькнула мысль: «А что, если отсыпать в платок фунтов пять-шесть и прятать, а на обратном пути забрать?... Все равно я здесь не останусь, а пять-шесть фунтов сахару всегда пригодятся.»

Сыдык-джан свернулся с дороги, остановил арбу в укромном месте и развязал кушак. Тут в каком-то уголке его души будто шевельнулось что-то и напомнило: «Как можешь ты делать подлость человеку, который доверил тебе лошадь сарбай и столько добра?» Сыдык-джан уже разумел было брать сахар, но в это время на память ему пришла женщина, которая поджидала его в Двух чинарах, и оправдание нашлось само собой. «Думаешь, Урман-джан доверил тебе? Он знал, что до Двух чинаров ты никуда не денешься, а там поставил сторожи эту женщину.» Мысль эта вызвала в душе Сыдык-джана чувство недоброжелательства к Урман-джану и же-

лание отомстить ему. Теперь сахар надо было взять уже не ради удовлетворения своей жадности, а скорее ради удовлетворения самолюбия, в отместку за недоверие. Не ограничившись сахаром, Сыдык-джан поэтому прихватил еще и две плитки фруктового чая. Завязав все это в платок, он сошел с арбы и, перепрыгнув через арык, направился к большому тутовому дереву, намереваясь спрятать узел между ветвями. Вдруг ему вспомнились слова жены Урман-джана: „Пойдем срезать тутовые листья“ и, хотя Сыдык-джан помнил, что та собиралась срезать листья прошлой ночью, ему показалось, будто к туту вот-вот должна подойти целая толпа женщин с ножами. Сыдык-джан оглянулся. Шагах в двадцати от дороги стоял стог клевера. Он побежал к стогу, спрятал узел между снопов, потом так же быстро вернулся к арбе и, нетерпеливо попуская коня, поспешил выезжать на дорогу.

Через некоторое время Сыдык-джан поднялся на холм, густо поросший мелким кустарником. С холма была видна развязка дорог, а за ней кишлак, судя по словам Урман-джана — Два чинара. Повернув у развязки налево, Сыдык-джан вскоре заметил женщину, сидевшую на пеньке у дороги. Увидав арбу, женщина встала. Это была довольно симпатичная среднего роста молодка лет, самое большое, двадцати пяти. Одета она была в бордовое платье и, поверх платья, в черного цвета безрукавку; туго подвязанный темно-зеленый платок плотно облегал загорелое лицо и казалось, что именно эти цвета, именно этот наряд были больше всего ей к лицу. Сыдык-джан догадался, что это была та самая женщина, о которой говорил Урман-джан, но все же, придержав коня, спросил:

— Невестка, этот кишлак — Два чинара?

— Если вы Сыдык-джан, то это и есть Два чинара, — ответила женщина, ставя ногу на спицу колеса и ловко взбираясь на арбу.

Чтобы хорошенько разглядеть свою спутницу, Сыдык-джан, будто хотел показать ей более удобное место, обернулся. Молодка прошла между мешков и, усевшись на передок, открыто взглянула на Сыдык-джана.

— Я вышла еще затемно, — сказала она и улыбнулась.

— Я тоже вышел затемно, — сам не зная для чего проговорил Сыдык-джан, всматриваясь в лицо молодой женщины.

Не выдержав его взгляда, молодка опустила глаза.

— Что ж, поехали, — сказала она негромко.

Сыдык-джан заставил себя отвернуться и тронул повод. Конь зашагал, лениво переставляя ноги.

Они долго ехали молча. По одну сторону дороги до самой реки тянулся густой колючий кустарник; то там, то сям из него проглядывали голые вершины песчаных холмиков. По другую — почти сплошь посохшее корявое мелколесье, заросли которого изредка рассекались узкими полосками богарной пшеницы. Эта картина, видно, напомнила молодой женщине о нехватке воды в Двух чинарах. Откуда и зачем прибыл к ним Сыдык-джан ей, похоже, не было известно. Почему-то посчитав его за колхозника, она спросила:

— В вашем колхозе воды много?

Сыдык-джан молча усмехнулся, затем, не оборачиваясь, ответил:

- Очень много!
- Сколько же вы сеете хлопка?
- Хлопка? Хлопка мало...
- Вай, а почему?
- Мы сеем пшеницу, ячмень, рис...

Молодка фыркнула:

- А сеяли когда-нибудь хлопок? Знаете, что такое хлопок?
- Сыдык-джан, усевшись в полоборота, взглянул на молодку.
- А вы хлопок сеете?

— Еще бы! Сейчас мы пятую часть всей земли хлопком засеваем. А когда арык закончим, всю землю под хлопок займем. МТС новые земли распашет, и их засеем. Братец Урман-джан уже послал в андижанские колхозы двадцать человек, чтобы они научились за хлопком ходить.

Сыдык-джану, который привык видеть женщин всегда печальными, недовольными своей судьбой и считавшему, что именно это является признаком женственности, женской прелести, не понравились жизнерадостность и уверенность, с какой говорила молодая женщина о мужских делах. Сам не зная почему, он посчитал ее за старую деву, в свое время чем-то оттолкнутую от себя мужчин и потому не сумевшую выйти замуж.

Они подъехали к развилке.

- Куда сворачивать? — спросил Сыдык-джан.
- На правую руку, — ответила молодка.

За развилкой в ушах зазвенело чириканье воробьев. Оно доносилось со стороны огромного тутового дерева, стоявшего у дороги.

— Тутовника не отведаем? — спросил Сыдык-джан и почему-то остановил коня, хотя до тута было еще довольно далеко.

Молодая женщина посмотрела на густо нанизанные на ветки жемчужные ягоды тута.

— Как жалко, паласа нет! — воскликнула она. — Разостлать бы и тряхнуть дерево!

Сыдык-джан остановил арбу под самым тутом.

Воробы кричали изо всех сил, шнырали между ветвей, ягоды осипались на землю, разбивались, истекали соком. Сыдык-джан встал на оглобли и нагнулся большую ветку. Молодая женщина вскочила с места, сделала попытку схватить ее, но никак не могла дотянуться. Чтобы наклонить ветку еще ниже, Сыдык-джан по оглоблям перебрался на арбу.

Первые две-три горсти он съел сам, затем, собрав еще одну горсть, обернулся к молодке. Стоя к нему спиной, та с аппетитом поедала ягоды, не замечая даже, что с головы у нее свалился платок. Сыдык-джан протянул руку под самым ухом женщины и поднес горсть прямо ей ко рту. Взглянув через плечо, молодка блеснула ровными белыми зубами.

- Ешьте сами...
- Берите, берите!

Не желая обидеть Сыдык-джана прямым отказом, молодая женщина решила отделаться шуткой. Она как-то по-детски выпятила губы и протянула:

— Н-е-е-т!

Это очень понравилось Сыдык-джану. „Ага, вон ты какая!“ — подумал он и окинул молодую женщину взглядом с головы до ног. Теперь молодка уже казалась ему не старой девой, отпугивающей мужчин своей холодностью, а бесподобной красавицей, по которой сходило с ума множество молодых йигитов. Реденькие завитки волос между ухом и затылком женщины показались Сыдык-джану до того красивыми, что у него явилось желание поцеловать ее в это место. Поцеловать, однако, он не осмелился, а только взял дво-три волосинки пальцами и легонько потянул на себя.

— Вай! — вскрикнула молодка, затем, обернувшись, нахмурилась: — Что вы делаете?

Но хмурилась она как-то по-детски мило, в голосе ее вовсе не слышно было гнева, поэтому Сыдык-джан еще раз протянул руку к завиткам и рассмеялся:

— А вам что до того?

— Вай!

Молодая женщина оттолкнула руку Сыдык-джана и снова потянулась к ветке тута. Как и в первый раз, в ее взгляде не было слышно ни гнева, ни решительного протesta. Это придало Сыдык-джану смелости.

— Подарите мне вашу шейку!..

Молодка даже не обернулась.

— Вам и своя, видно, лишней кажется, — проговорила она с усмешкой.

В шутку ли это было сказано или всерьез, Сыдык-джан не понял. Бессознательно продолжая собирать ягоды, он спросил:

— Оху! Что же это за палач такой, чтоб мог мне шею сломать?

— Мой муж.

— У вас есть муж?!

— А вы не женатый?

Сыдык-джан хотел было сказать „нет“, но тут перед его глазами встал ребенок.

— Был женат, — ответил он нехотя.

— Развелись?

— Развелся.

— Вон как, а дети есть?

— Есть, сын есть.

— Если так, вы еще вернетесь к жене.

Сыдык-джану показалось, что в голосе молодки прозвучало разочарование, и он поспешил заверить:

— Если и вернусь, так только на поминки. Да, на поминки!

Молодая женщина взглянула на него так, словно хотела сказать: „Чем молить о смерти для другого, лучше помолись о жизни

для себя! — и попыталась нахмуриться, но этого у нее не вышло, и она рассмеялась. Поспешность, с какой ответил Сыдык-джан, так рассмешила ее, что она, не в силах удержаться на ногах, с хохотом опустилась на мешок.

Сыдык-джан торопливо, словно женщина могла лишиться чувств и свалиться, если ее не поддержать, подсел к ней с левой стороны и, протянув руку, обхватил за плечи:

— Чему вы смеетесь?

Молодая женщина расхохоталась еще больше. Сыдык-джан крепко сжал ей плечи и поцеловал в щеку. Молодка резко вскочила. Лицо ее побледнело, в глазах отразилось удивление и даже страх.

— Э-хал — проговорила она и, с опаской поглядывая на Сыдык-джана, протянула руку за платком.

На лице Сыдык-джана появилось что-то, скорее похожее на бесмысленную гримасу, чем на улыбку.

— Я — ничего...

— Это что такое?..

Сыдык-джан сделал попытку обратить все в шутку или, во всяком случае, несколько сгладить свою грубость.

— Это... поцелуй, — ответил он и, чтобы скрыть смущение, низко наклонился, делая вид, что протирает глаз.

Молодая женщина нервно повязала платок, подобрав подол платья, присела на мешок, затем кивнула в сторону коня.

— Идите, садитесь...

Сыдык-джан еще раз попытался рассмешить женщину.

— Не пойду и не сяду, — проговорил он упрашивающе.

— Кто вам сказал, что женщины Двух чинаров такие? Или это потому, что я с вами говорила открыто, не стесняясь? Если так, — бедные женщины в вашем колхозе! Если женщины станут пугаться каждого мужчины, а мужчины не будут доверять друг другу, какой же колхоз может быть?

Перед глазами Сыдык-джана почему-то возник Урман-джан. Ему показалось, что это вовсе не молодка, а председатель колхоза стоит перед ним и говорит ему эти самые слова. Он сидел молча, не смея шевельнуться, а на лбу и на кончике носа у него блестели капельки пота.

Молчание затянулось. Его нарушило послышавшееся откуда-то сверху шипенье и уханье удода. Молодая женщина взглянула на Сыдык-джана, и гнев ее прошел.

— Чудно! — проговорила она уже без всякого гнева и усмехнулась. — Совесть у вас есть? Если все мужчины будут такими, как вы, что тогда из колхоза получится? Если бы и мой муж также поступил с вашей женой, вам это понравилось бы?

— Я думал, у вас нет мужа, — проговорил Сыдык-джан, не поднимая глаз и в смущении почесывая лоб.

— Э-э, значит, женщину можно уважать только при муже? А если мужа нет, выходит — каждый может ее ногами топтать? Вот вы составили свою жену, значит, теперь все могут таскать ее по ру-

кам, что козла на улаке?¹ Заберется к вам в дом какой-нибудь грубиян, а сынишка ваш будет стоять под дверью и плакать... Очень красиво будет!

Конь, защищаясь от слепня, резко вскинул задом. Сыдык-джан, сделав вид, будто испугался, что конь сейчас понесет, метнулся по оглоблям и прыгнул в седло. Конь вздрогнул от неожиданности и в самом деле рванул арбу.

Долгое время они ехали молча. Затем молодка попросила нож, очистила два огурца и один из них на кончике ножа проткнула Сыдык-джану.

— Бог, покушайте, — предложила она.

Сыдык-джан готов был провалиться сквозь землю: молодая женщина только что стыдила его, а теперь вот протягивает огурец! Вглядываясь в дорогу с таким видом, будто при малейшей необрезности с его стороны арба могла свалиться в пропасть, он, не обрачиваясь, пробормотал:

— Благодарствую... Не беспокойтесь!..

— Вы обиделись?

— Нет, за что... Вы ничего обидного не сказали.

— Взгляните-ка сюда!

Сыдык-джан нехотя обернулся.

— За что мне обижаться, — пробормотал он, краснея.

— Берите, если так, не огорчайте меня отказом!

Сыдык-джан взял огурец и тотчас отвернулся.

— Я вовсе не хотела сказать, что вы дурной человек, — заговорила молодая женщина, принимаясь чистить новый огурец. — Если бы вы были дурным человеком, вы могли бы сделать со мной все, что хотите. Стешь такая — ворона не пролетит, вы здоровенный йигит, у пояса нож, да еще с такой, из слоновой кости, ручкой... Я на вас не обижаюсь. Не вы в том виноваты, а наши старые обычаи. У нас, узбеков, женщина бежит от всякого постороннего мужчины, а мужчина, если к тому представляется случай, пытается задеть любую женщину. Не знаю только, потому ли им хочется задеть, что женщины их избегают, или женщины потому избегают, что те их задевают?

— Вы же говорили, что в вашем колхозе мужчины доверяют друг другу, а женщины мужчин не стесняются?

— В колхозе другое дело. В колхозе люди становятся такими, будто они выношены в одном чреве... Я все это к примеру говорю. У нас было так: женщина, если она встретит застенчивого мужчину, в душе посмеется над ним, а мужчина, если ему повстречается женщина, которая не делает видов, что стесняется, обязательно подумает, что она испорченная. Вот у русских, у них совсем не так, оказывается. На нашей водокачке есть немало русских. В прошлом году взобралась я как-то на дерево нарезать листьев для червей и никак не могу слезть. Подходит Анд-

¹ Улак — козлодранье.

рэй. Смотрю — он руки протянул, хочет помочь мне сойти. „Вай, подохнуть тебе!“ — напугалась я и кинулась с дерева. Чуть ногу не сломала. А Андрей с чистой душой человек, у него и в мыслях не было такого, и он никак не мог понять, почему я бросилась с дерева, даже не подумав, что могла из-за этого стать калекой...

Они миновали заросли тамариска. Подпрыгивая на кочках, арба со скрипом выехала на открытое место. Здесь проходил канал. Дорога шла над каналом и уходила вдаль, к самому горизонту, где маревом дымилась река.

— Смотрите, — сказала молодая женщина, — если на эти земли вывести воду, во всем районе даже туваки¹ к выбкам из золота подвешивать будут.

Сыдык-джан был рад, что женщина перестала его стыдить и поспешил поддержать разговор.

— Да, да, — согласился он и, хоть догадывался сам, спросил: — Эти места уже не чинарские, а?

— Нет, но безводных земель и у нас много.

— А удобной земли хватает?

— Земли, сколько ни будь, все равно кажется, что нехватает.

— Сматря сколько у вас людей.

— Почему только людей?

— А на кого же еще можно рассчитывать, чтобы справиться?

Молодка искривила губы.

— Чго у вас за колхоз такой? Вы, похоже, и трактора еще не видали? Для чего тогда власть советская выпускает тракторы, машины-ураки,² автомобили? Для чего она тогда открыла МТС? Знаете, сколько трактор вспахивает земли за день? Трактор — это не вол!..

Сыдык-джан вспомнил, как он сконфузил себя перед Курбан-ата, и промолчал.

Когда арба, круто свернув влево, миновала перекинутый через канал временный мост, вдали у реки показались несколько шалашей, затем продолговатый земляной холм и фигурки людей у его подножья. Сыдык-джаном начало овладевать беспокойство. Беспокойство это нарастало с каждым шагом лошади. Ему казалось: как только арба подъедет к месту и остановится, молодка завопит во весь голос и примется рассказывать всем, что с ней произошло в пути.

Строения, издали казавшиеся небольшими шалашами, сгрудившимися у самой реки, оказались большими навесами, расположеными на порядочном расстоянии друг от друга и много ближе реки. Сыдык-джан остановил арбу у открытого с трех сторон навеса, указанного ему молодкой. Четвертая — западная — сторона навеса была защищена тонкой камышовой загородкой. Под защи-

¹ Гувак — посудина (судно), подвешиваемая под эзбуку.

² Урак — серп, машины-ураки — жнецы.

той загородки были сложены всевозможных цветов одеяла, глиняная и деревянная посуда, а также разные мелочи хозяйственного обихода. В нескольких шагах от навеса стояла копна ящака и рядом очаг с огромным котлом, у которого сидела на корточках женщина средних лет. Увидев подъехавшую арбу, женщина поднялась и, вытирая на ходу руки о фартук, заспешила к прибывшим. Она поздоровалась с Сыдык-джаном, указала под навесом место, где надо было сложить груз, а сама заговорила о чем-то с молодкой. Сыдык-джан принял переносить мешки. Стремясь по виду определить, о чем говорят женщины, он часто поглядывал на беседующих, и сердце его вздрогивало каждый раз, как только на лице у кого-нибудь из них появлялась улыбка. Женщина возвратилась, наконец, к очагу и занялась своим делом. Она чистила рыбу. Молодка прошла под навес, налила в жестяной чайник кипятку из большущего самовара, заварила чай, затем, расстелив дастархан, позвала Сыдык-джана:

— Выпрягайте коня, Сыдык-джан-ака, и проходите сюда. Вы, видно, и чаю еще не пили.

Сыдык-джан распрыг коня, отряхнул рукава и полы ящака и, шагая осторожно, словно боясь, что под ним вот-вот провалится земля, прошел под навес. Молодка принесла три лепешки, две три горсти сущеного урюка, затем принялась наливать чай. В это время вдали показался какой-то мужчина.

— Это Балта-бай, — сказала молодка, протягивая Сыдык-джану пиалу с чаем и вставая навстречу мужчине.

— Кто он?

— Мой муж...

Сыдык-джан невольно вскочил на ноги.

— Сидите, сидите!

Слова молодки, однако, не достигли цели. Только к тому времени, когда Балта-бай вошел под навес, Сыдык-джан кое-как сумел справиться с собой.

Балта-бай оказался стройным, среднего роста мужчиной с черным, как у цыгана, лицом, обрамленным черной же бородой, которая очень шла ему. Он видно был человек открытого, веселого нрава, так как тут же, обращаясь к молодке, пошутил:

— Придется, наверное, мне заново жениться и взять жену такую, чтобы сама догадывалась, когда мужу нужен нас. Или на этот раз привезла?

Не ожидая ответа от жены, Балта-бай протянул руку Сыдык-джану. Тот ответил на приветствие, но при этом не мог удержаться от мысли: „Каким гневом загорятся глаза этого человека, когда он услышит жалобы жены!“

Все уселись вокруг дастархана. Узнав, с каким намерением Сыдык-джан прибыл в Два чинара, Балта-бай обрадовался.

— Вон как? Очень хорошо! — сказал он с одобрением. — У нас вот уже и арык скоро будет готов. Если бы не прополка и окучка хлопка, тут дела осталось всего на один месяц.

Из боязни, что Балта-бай заговорит о другом и молодка в кон-

це-концов может рассказать о том, что произошло в дороге, Сыдык-джан постарался поддержать разговор на эту тему.

— Чрез сколько же месяцев вы думаете закончить? — спросил он.

— Это будет зависеть от нас самих. Если будем вот так посиживать за чаем, затянется надолго, если же проявим старание, кончим быстрее... Как же вы решили — останетесь?

Сыдык-джан хотел было отдохнуть от неопределенного: „Оставаться, так оставаться“, — но тут ему вспомнились тутовое дерево и узелок, оставленный им под стогом клевера, и он не сказал даже и этого.

В разговор вмешалась молодка.

— Конечно, останетесь, — сказала она, засыпая в тыквянку нас. — Оставайтесь, Сыдык-джан-ака, оставайтесь!

Молодка говорила так, словно упрашивала остататься переночевать у себя заехавшего в гости родного брата, и все же Сыдык-джану почудилась в ее голосе насмешка. Он кинул в ее сторону быстрый подозрительный взгляд. Однако лицо молодой женщины не выражало ничего, кроме искреннего участия и доброжелательства. Она, казалось, уже забыла все, что произошло в дороге, и даже не считала нужным вспоминать об этом. В сердце Сыдык-джана появилось теплое чувство благодарности к этой женщине. Сейчас он ничего не смог бы сказать, что противоречило бы ее желаниям.

— Как вы скажете, так и будет, останемся...

— Очень хорошо! — одобрил его решение Балта-бай, пряча в пояс штанов тыквянку с насом. — В моей бригаде осталось одиннадцать человек. Правда, все они, доброго им здоровья, хорошие йигиты, ударники... Давайте, помогайте нам. Звать вас Сыдык-джан, а фамилия?

— Сахиб-джанов, — краснея, тихо проговорил Сыдык-джан, словно опасался, что Балта-бай и молодка, услышав его фамилию, станут громко смеяться.

Однако ни Балта-бай, ни его жена не заметили его состояния. Балта-бай тут же поднялся.

Остаток этого дня Сыдык-джан провел с женщинами, помогая им по хозяйству. Молодку звали Зиеда-хан. Обращаясь к ней, Сыдык-джан называл ее не иначе как „Зиеда-хан-апа“, хотя она была года на четыре моложе его.

Продолжение следует.

Перевел с узбекского Н. Ивашев.

РАМЗ БАБАДЖАНОВ, ДЖ. ШАРИПОВ,
А. МУХТАРОВ, МИРМУХСИН,
ЯНГИН МИРЗА, ШУКУРУЛЛА

КОМСОМОЛ^{*})

Москва. Кремль. Сталину.— Великий вождь побед!
Шлет комсомол тебе свой пламенный привет!
Генералиссимус, победы полководец!
Ты — молодой земли великий комсомолец,
Ты — образ юности, воспитанной боями,
И человечности, и молодости знамя.
Высоких дум, больших стремлений человек,
К вершинам солнечным ведешь ты новый век.
И слово каждое твое, оно одно —
Энциклопедии по мудрости равно.
Нам молодость счастливую ты дал,
Для подвигов ты юность воспитал,
А люди, что воспитаны тобой,
Озарены победой боевой,
Твоим величием озарены,
О полководец мужества страны!
И песни складывать тебе из года в год
Обычаем считает наш народ.
И эту песню, этот дар сердец,
Прими от нас, великий наш отец!

* * *

Питомец Ленина — бесстрашный комсомол
Большую школу мужества прошел.
Рожденный бурею на рубеже времен,
Он в испытаниях и битвах закален
И в дело каждое страны своей родной
Вложил он юный труд и юный подвиг свой.
Он гордость солнечных и городов и сел —
Питомец Сталина — отважный комсомол!

* Из выступления молодых поэтов на XI съезде комсомола Узбекистана.

Когда зажглась заря на небесах России,
И Питер развернул знамена боевые,
Тогда свободы свет в далекий край пришел.
И начал жизнь свою узбекский комсомол.
Грозой рожденные сыны большевиков,
Отряды смелые узбекских удальцов
Безулергны в труде, бестрепетны в бою,
Мужая, строили республику свою.
Врагам отечества дал комсомол сраженье
И боевое в нем он получил крещенье.
Ячейка юношам путевку в жизнь дала —
Знаменопосцем стал кокандец Абдулла,
И молодой Сабир, в градущем генерал,
На боевом коне в атаку поскакал.
Во имя родины вели мы этот бой,
В победу веря и жертвуя собой.
И весь народ в борьбе с врагами помогал,
И красные полки сам Фрунзе возглавлял.
Уверенной рукой он нес победу нам,
Революционного Востока командарм.
История хранит былых сражений след
И даты славные блистательных побед, —
И сокрушив врагов, расправил юный стан
И начал строить жизнь родной Узбекистан.

* *

Когда, великий вождь, не вытирая слез,
У гроба Ленина ты клятву произнес,
Ты начертал тогда великий план страны,
И стали строить мы, тобой окрылены.
И познавали мы секреты мастерства
И счастье творчества, и гордость торжества.
И вырастали мы в те славные года
Стальною гвардией победного труда.
Наш комсомол поля отчизны засевал,
Большою силой он во всех колхозах стал,
Под юношою рукой пустыни зацвели
И золото росло из радостной земли.
Водою новых рек обильно вспоена,
Цвела счастливая узбекская страна.

* *

Когда презренный враг на родину напал,
На бой с фашистами народ советский встал
За дело Ленина, за родины простор,
За дело Сталина, — с великих наших гор,

С равнин и дальних рек, со всех краев земли, —
Полки защитников отечества пошли.

* *

И сколько разных стран не исходили мы,
И сколько рек, морей не переплыли мы,
В атаку с нами шел, Корчагин, образ твой,
Он в памяти горел звездою золотой.
И Ибрагимов паш разил врага свинцом,
И Эрдигитов наш крушил его огнем,
И соколом взлетал Покрышкин в небеса,
Являя воинской отваги чудеса.
И краснодонских комсомольцев имена,
Как песнь о мужестве, хранит в душе страна.

И юность наших дней, как партизанка Зоя,
Готова каждый миг пожертвовать собою.
Она всегда в шинель походную одета,
Нет для нее преград на всех дорогах света,
Для той, что Вислу, Рейн и Одер проплыла
И над Берлином стаг победы вознесла!
И где бы мы сейчас на вахте не стояли,
У хлопковой гряды иль на прокате стали, —
Самоотверженной работою своей
Должны ответить мы на подвиги друзей.
Под небом голубым, под лучезарным солнцем
Открыто счаствие пред каждым комсомольцем,
Открыто творчество просторных мирных лет
И новый, славный путь дерзаний и побед.

* *

Великий план вождя сверкает перед нами,
Как небо родины, покрытое звездами,
И строки звездные нам озаряют путь,
И ветром мужества свободно дышит грудь.
Мы восстановим все, что злобный враг разбил,
Не пожалеем мы своих сердец и сил.
Эй, на строительство и городов, и сел,
Застрельщик нового, отважный комсомол!..
Стране нужна руда — упрямые горы рой,
И нефть нужна — трудись на вышке буровой,
Эй, уголь вырубай, вари в мартене сталь,
На тракторах паши земли весенней даль,
Учись, используй всю культуру человека,
Изобретай большой мотор — машину века.
Владыцием больших машин и мыслей будь,
По сталинским словам свой направляя путь.

Во славу вечную республики родной,
Узбекский комсомол, верши ты подвиг свой,
И счастье ее, оно в руках твоих,
Держи его, расти, не разжимая их.
Народа будущность (так говорит народ),
Как золото, землей скрытое живет,
Любой из нас, друзья, тем кладом наделен —
Владеем золотом и ты, и я, и он!
Узбекский комсомол! На хлопковых полях
Расти красу земли в уверенных руках.
Ты — честь колхозников, ты — знатный хлопковод,
Хозяин золотых полей и синих вод!
И по дорогам, где проходишь, славный, ты,
Развертывает куст хлопчатника листы
И расцветают там соцветия цветов,
И зреют белые созвездья жемчугов,
И на бумаге, что, как хлопок твой, бела, —
Мы пишем про твои прекрасные дела.

* *

Ученье Сталина, великих мудрость слов —
Оружье верное страны большевиков.
Творит для нас, людей, к познанию ведя,
Блистательный талант и зоркий ум вождя.
И комсомолец наш, недавний наш студент,
Что академии сегодня президент,—
И новый инженер, что Сыр Дарью смирил,
И химик, что рудниквольфрамовый открыл,
И тот, кто атомов постигнул существо, —
Являют сталинской науки торжество!
Поет симфония побед, как океан,
И видит весь Восток, что паш Узбекистан
Сверкает на пути народов вековом
Социализма и расцвета маяком!

* *

Спасибо, мудрый вождь, от всей души тебе
За то, что нас взрастил и вдохновил к борьбе.
За то, что на земле ты среди нас живешь —
От сердца шлет тебе спасибо молодежь!..
Мы знаем, что должны упорны быть и метки,
Что на плечах у нас — долг новой пятилетки,
И клятву мы тебе великую даем —
Клянемся победить на фронте трудовом!..
Эй, на строительство и городов и сел
Орденоносный наш отважный комсомол!
Эй, в океан труда, бурлящий и большой,

Вступай горячею рекою молодой,
В года грядущего потоком ты плыви
В сияны сталинской заботы и любви!..
Мы знаем, что краса всей нашей жизни — труд,
Что наша преданность своей отчизне — труд,
Что каждый камушек народного труда
Мостит широкий путь в грядущие годы.
Мы путь в грядущее великий проведем,
Страну по рельсам мы из стали поведем,
Закалена в труде и в битве наша сталь...
Счастливого пути нам в коммунизма даль!

* * *

Генералиссимус! Победы полководец!
Ты — молодой земли великий комсомолец,
Ты — образ вечной юности земной!..
Веди нас дальше, вождь, веди в победный бой!

Перевела с узбекского С. Сомоза.

СОДЫК КАЛАНДАР

МЫ НА УРАЛЕ

Повесть

Продолжение¹

X

Они все пятеро вошли в вестибюль и на минуту остановились в нерешительности, перешептываясь. В вестибюле было так тихо, что даже этот сдержаненный шепот казался громким и должен был привлечь чье-нибудь внимание.

Так и выплыло. Дремавший у печки в углу истопник открыл глаза, секунду молчал, глядя на них с недоумением, потом позвал кого-то негромким, спокойным голосом:

— Глаша! Чего ты возишься там? Люди-то вот пришли.

Старичок не спеша поднялся, подошел к ним и вежливо поздоровался. В это время из-за барьера, где помещалась гардеробная, вышла полногрудая женщина в белом халате и, ласково здороваясь со всеми за руку, спросила, не они ли будут те самые люди, которые едут в Узбекистан и должны были сегодня побывать у них в госпитале.

— Вот оно что... Так вы посидите минутку, я сейчас, — обрадованно воскликнула она, когда Березин подтвердил, что они именно и есть те люди, и извинился за опоздание.

Женщина усадила гостей на диван и поспешила пошла по лестнице на второй этаж. Минуты через три она вернулась в сопровождении двух других женщин, одна из которых — майор медицинской службы — оказалась начальником госпиталя Верой Соломоновной Гринберг.

Сначала они все вместе вошли в самую большую, десятую палату, где находились только выздоравливающие, многие из которых должны были скоро вновь вернуться на фронт. Даже не побывав еще в других палатах, гости могли с уверенностью сказать, что здесь было гораздо веселее, чем во всех остальных отделениях.

¹ См. „Звезда Бостока“ № 10-11, 12 — 1946 г.; 1, 2-3 и 4 — 1947 г.

Еще в коридоре, когда они шли по мягкой ковровой дорожке и разговаривали тихонько, стараясь не шуметь, из десятой палаты до них донесся громкий жизнерадостный мужской смех.

— Вот ведь предупреждала, чтобы потише себя вели, — сказала начальник госпиталя. — В других палатах есть очень тяжело больные. Особенно вот в этой. — Она указала рукой на дверь, где на черной табличке стояла цифра 6. — Им нужен покой. Впрочем, шум слышен только здесь, в коридоре, а в другие палаты не доносится, — добавила она, как бы оправдываясь перед гостями.

Она открыла дверь и, продолжая придерживать ее одной рукой, приглашала гостей войти.

Бледная, с сильно бьющимся сердцем, Туфахон входила последней. Она остановилась у порога, не решаясь двинуться дальше.

— Мархамат, мархамат, каны, кельсинляр¹! — сказал ей молодой джигит с взволнованным и слегка побледневшим лицом, лежавший как раз против двери, у окна. — Джоним, кельсинляр! — добавил он и приподнялся чуть-чуть на локтях.

— Входите, что же вы?! — сказала ей начальник госпиталя, только сейчас заметившая, что девушка все еще стоит у порога.

Туфахон сделала несколько нерешительных шагов и, отчего-то вдруг густо покраснев, снова остановилась посреди комнаты, видимо, не решив сразу, к кому подойти.

— Иде! Джоним! Проходите, садитесь! — настойчиво приглашал ее все тот же боец, выпростав из-под одеяла смуглую тонкую руку и стараясь дотянуться ею до стула. — Проходите! Если бы было войны и мы встретились с вами во дворе моего дома, в Самарканде, я постелил бы под ваши ноги пойандоз².

И должно быть именно потому, что он так настойчиво приглашал ее и так просто и вольно с нею разговаривал, ей неловко было и не хотелось к нему подходить, но чтобы не обидеть его, она все-таки подошла, поздоровалась и села на стул. На лице ее еще заметно было некоторое смущение, смешанное теперь уже с чувством радости и любопытства; ей уже хотелось сейчас и слушать всех сразу, и говорить самой, и приглядеться к обстановке, в которой они здесь жили и, видимо, чувствовали себя как дома, и узнать, почему они только что так весело смеялись.

— Олечка, садись рядом, — сказала она, уступая подруге краешек стула.

Но Оля извинилась и подошла к другому раненому, что лежал тут же у окна по другую сторону тумбочки.

— Чему вы так громко смеялись? — слегка смущаясь, спросила Туфахон джигита, который теперь внезапно замолчал и, повернув к ней свое сияющее счастливое лицо, молча смотрел на нее карими глазами. Когда она заговорила с ним, он еще секунду глядел на нее все тем же глубоким счастливым взглядом, видимо,

¹ Приветствие на узбекском языке.

² Пойандоз — шелковое полотно, подстилаемое под ноги самым почетным гостям или жениху в свадебную ночь.

не слышав и не поняв того, о чем она спросила, потом брови его дрогнули, в глазах что-то переменилось и он переспросил тихо и весело, на родном языке:

— Что вы сказали?

— Я спрашиваю, почему вы так громко смеялись, когда мы подходили к вашей палате?

Вместо ответа он сначала повернул голову вправо и указал рукой в угол, где на койке у раненого сидели Березин и Шодмон-палван, потом сказал, чуть-чуть улыбаясь:

— Вот лежит сержант Марченко. У него плечо прострелено и пятку на левой ноге осколком оторвало. Так он все время нам что-нибудь веселое рассказывает. Выписывается скоро. Поправился. Сейчас он один рассказ из „Крокодила“ читал. Вот мы и смеялись. Глядите, уже и их рассмешил, — добавил он, кивая опять на сержанта Марченко и смеющихся Березина и Шодмон-палвана.

— А вы тяжело ранены? — спросила его Туфахон, и он только что хотел ответить, как начальник госпиталя, до этого сидевшая на койке в левом углу и о чем-то внимательно расспрашивавшая раненого, вдруг поднялась и, обращаясь ко всем сразу, спросила:

— Что ж, товарищи, я вижу, уже все познакомились, обойдемся и без официальных речей?

— Обойдемся! — поддержали ее несколько мужских голосов.

— Хорошо. Я только скажу вам пару слов о наших посетителях. Делегация, членами которой являются наши сегодняшние гости и которая завтра выезжает в Узбекистан...

В палату, неслышно притворив за собой дверь, вошла молодая белокурая женщина в такой же белой шапочке и халате, как и у начальника госпиталя, и молча остановилась рядом с Гринберг. Ей нужно было что-то, видимо, сказать начальнику госпиталя, потому что несколько раз она выжидательно посматривала на нее, то нетерпеливо покусывая нижнюю губу, то оглядываясь опять на дверь. Когда Гринберг кончила говорить и повернула к ней лицо, молодая женщина сказала ей очень тихо и внятно:

— Из шестой палаты Сабирову опять хуже. Температура сорок.

— Хорошо. Успокойте его, Людмила Николаевна...

Гринберг на мгновенье прислушалась, внезапно приняв строгое выражение лица.

— Идите, — сказала она врачу, слегка трогая ее за плечо.

И едва она успела это произнести, как приглушенный неясный шум, доносившийся откуда-то из-за стены, внезапно раздался в коридоре. Громко дребезжало, хлопнули двери, послышалась возня, кто-то закричал душераздирающим голосом, потом пробежал по коридору несколько неверных тяжелых шагов и грузно упал.

Начальник госпиталя и врач быстро вышли из палаты.

Страшно бледная, Туфахон молча поднялась со стула и подошла к двери. Она толкнула дверь, но кого-то, должно быть, держал

ее спасти, и дверь не отворялась. Только через секунду она приоткрылась и Гринберг спокойно спросила:

— Что вы хотели, девушка? Минуточку подождите.

Немного погодя она вошла, такая же спокойная, сдержанная и, пропустив в коридор Туфахон, негромко, с ноткой искренней теплоты и сожаления в голосе, сказала:

— Старшина Прохоров. Харьковчанин. У него эсесовцы на балконе жену с шестилетней дочкой вниз головой повесили. Никак не можем его удержать. Двое санитарок почти все время около него дежурят. Привязать нельзя. Ранение тяжелое.

— Эх, скорей бы опять на фронт попасть, — с жаром проговорил сержант Марченко. — Не устану я их колотить.

Разговор вновь оживился. Только тот боец, что лежал у окна и был так счастлив, когда около него сидела Туфахон, смотрел теперь на окружающих каким-то растерянным взглядом, видимо, не зная, к кому присоединиться. Наконец он вспомнил про сверток, который Туфахон положила на тумбочку и, дотянувшись до него руками, принялся его разворачивать. Развернув сверток, он снова пришел в восхищение и взглянул на дверь, должно быть ожидал, что Туфахон снова вот-вот войдет в палату.

Но она не входила.

Встретив в коридоре ту же самую белокурую женщину, которая перед тем заходила в палату, Туфахон нерешительно подошла к ней. Она так волновалась и была так бледна, что доктор не сразу поняла ее, хотя Туфахон теперь уже совсем хорошо говорила по-русски.

— Вы хотите пройти в шестую палату? К Сабирову? — наконец, поняв ее, спросила врач.

— Да, опа-джон, к Сабирову, — сказала Туфахон в волнении, смешивая русские слова с узбекскими. — Только скажите мне... А имя?.. Имя его вы не знаете?..

— Имя?.. — переспросила женщина и, подойдя к двери, на которой висела черная табличка с цифрой шесть, бесшумно открыла ее и, так и не ответив на вопрос, тихонько сказала:

— Войдите.

Она впустила Туфахон, опять неслышно прикрыла дверь и куда-то пошла по коридору.

Туфахон осмотрелась. В палате было всего четыре койки. Сильно пахло не то наркозом, смешанным с валериановыми каплями, не то каким-то еще другим лекарством.

В глубине, у окна, на низенькой табуретке, сидела пожилая няня и вязала чулок.

Стоя у порога, Туфахон продолжала внимательноглядеться в каждое лицо. Двое из тех, что лежали в палате, были русские. Они оба спали. Третий был не то грузин, не то армянин, Туфахон не могла определить его национальности. Глаза его были широко открыты и казались неподвижными. Странным, остановившимся воспаленным взглядом он смотрел на нее. И вдруг ей стало всех

их так жаль, и на сердце легла такая тяжесть, как будто грудь ее сдавили тяжелым обручем и стало нечем дышать. Горло перехватили спазмы. Она почувствовала, что сейчас закричит. Шупая одной рукой позади себя дверь, Туфахон уже попятилась назад, но в это время няня встала, подала ей свою табуреточку и очень ласково, тихо сказала:

— Садитесь, барышня! Я все петлю никак не могла поймать. Садитесь!

Туфахон вздохнула. Она сделала несколько шагов и вдруг взгляд ее упал налево, где у стены стояла четвертая койка и куда, бесшумно ступая, направилась няня. Чуть склонившись, видимо, прислушиваясь к дыханию человека, лежавшего на койке, старушка несколько секунд стояла молча, потом так же неслышно отошла от кровати и скакала тихо, со спокойной грустью в голосе:

— Забылся. Этот совсем тяжелый. Вера Соломоновна говорит, безнадежен. Эх-х, сыночки вы мои, — добавила она протяжно и, неожиданно всхлипнув, вышла из палаты.

Туфахон увидела лицо больного, и странная неподвижность овладела всем ее существом. Не шелохнувшись, с остановившимся дыханием и взором, она смотрела на лицо Ботыра и медленно узывала его.

Да, это был Ботыр. Он лежал с закрытыми глазами, и страдальчески приподнятые черные брови его были неподвижны. Она сделала еще шаг вперед, все боясь ошибиться, и вдруг увидела крохотную родинку в углу его губ, которая была всегда так хорошо видна, когда он смеялся.

Она стояла уже возле самой кровати, бессильно, вдоль тела, опустив руки, и все еще не знала, что надо сделать, чтобы он увидел ее. Она боялась закричать, боялась громко произнести его имя, чтобы не испугать, не разбудить, не потревожить его. А рыдания все сильнее распирали грудь и мешали дышать. И вдруг обильные слезы брызнули из ее глаз и полились по лицу. Она тихо опустилась на колени, упала грудью на край кровати и, спрятав свое лицо в ладони, вся затряслась в безмолвном рыдании.

— Нельзя так. Нехорошо. Слышите, девушка, нехорошо! Человеку без этого тяжело, а вы еще больше его растревяляете, — услышала она над собой строгий голос и вдруг опомнилась, испугалась. «В самом деле... Нельзя же его расстраивать», — трезво подумала Туфахон.

Она украдкой вытерла ладонью щеки, глаза и подняла голову. Ласковые глаза Ботыра, брызгающие светом, смотрели на нее.

— Ботыр-ака!.. Ботыр-ака!.. Вы... живы?! — шепнула она, вся устремляясь к нему.

И едва она припала лицом к его щеке и опять заплакала, как чья-то сильная рука ласково взяла ее за плечо.

— Не нужно, товарищ Норматова. Не волнуйте его! — тихо сказал ей Березин, когда она взглянула на него.

Туфахон встала, увидела Шодмон-палвана, Гринберг, Ковшова, Олечку, Зайнаб, которые в это время входили в палату, и краска

смущения залаила ей лицо. Потом она поборола это смущение и посмотрела на Ботыра. Он лежал, смотрел на нее, на гостей, которые подходили к его кровати, и желтое болезненное лицо его начинало все больше и больше светлеть.

XI

— Так что ж, товарищи! Завтра у нас день свободный?! Будем готовиться к отъезду? — сказал Березин, когда они вышли из госпиталя.

Все промолчали. Только Ковшов, шедший с Шодмон-пальваном впереди всех, через минуту промолвил:

— Выходит так. Будем собираться.

— У кого будут какие вопросы или возникнут затруднения в чем-нибудь, прошу ко мне в райком. Я буду там с утра, как обычно, — опять проговорил Березин.

И хотя ни у кого из них не было на душе особенных тяжестей и всем хотелось поговорить о завтрашнем дне, они снова все промолчали.

Лишь через некоторое время разговор постепенно завязался. Говорили о билетах, которые должен был взять Березин, о большом пути, который им предстояло проехать, о том, как их встретят в Узбекистане и какая стоит теперь там погода. Говорили вообще обо всем, о чем могут говорить люди, которым предстоит ехать вместе, да и не только ехать, а еще и жить и гостить там вместе и интересоваться одними делами.

Лишь Туфахон да Оля Протасова не принимали участия в общем разговоре. Молчаливые, не обмолвившиеся между собой ни одним словом, они сначала шли вместе со всеми, затем обогнали всех, завернули за угол, и скоро голоса друзей перестали доноситься к ним из темноты. Девушки пошли тише, попрежнему погруженные в свои мысли.

Было холодно. Тяжелый осенний ветер не спеша, в развалочку шел по городу и, будто еще не разгулявшись во всю свою мочь, пока только лишь для потехи, то обнимал каменные дома, тряс их до основания и гудел под крышами, то легонько задевал деревья, и они шумели низкими густыми голосами, то, присвистнув, пропадал где-то за углом.

Так, не сказав ни слова, они дошли до дома, где жила Туфахон. Оля, остановившись, молча подала подруге руку. Туфахон стиснула ее руку в своих ладонях, потом прижала к груди, и они обе молча и долго стояли.

— Я пойду, Туфочка, — сказала, наконец, Оля. — Уже ведь поздно.

— Как?.. Зачем?.. Куда ты пойдешь? — вдруг будто очнувшись, спросила Туфахон. — Разве ты не останешься у меня?..

— Нет... Ты извини меня. Но тебе надо сегодня побывать наедине с собой. Надо. Я это чувствую...

Туфахон помолчала.

— Да... Надо... Ты права...

Оля еще раз пожала ее руку, поцеловала в щеку.

— Туфочка, не беспокойся. Только не беспокойся и не плачь. Я знаю, ты будешь ночью плакать. Но это напрасно. Совершенно напрасно. Вот поверь моему слову. Все будет хорошо. Он поправится. Мы завтра едем, а он тем временем будет поправляться. — добавила она убежденно, словно уже знала, о чем всю дорогу молча думала Туфахон.

Оля отпустила ее руку и быстро пошла.

С минуту Туфахон стояла в задумчивости.

— Оля!.. Олечка!.. Оля! — вдруг прокричала она несколько раз, словно чего-то испугавшись. — Вернись, Оля! Слышишь?!

Никто не ответил. Шагов Оли уже не было слышно.

— Вернись!..

Ветер метнулся с дороги на тротуар, дохнул ей в лицо холодом и толкнул в грудь.

И вдруг она бросилась догонять подругу.

— Олечка... Оля!..

— Ну, что ты?! Что с тобой? — спросила девушка, вновь появляясь из темноты и идя ей навстречу.

— Я не могу без тебя... Ты будешь со мной, — обрадованно заговорила она, обнимая ее за плечи. — Не могу сегодня. Да и ветер, смотри какой злой, да и поздно уже. Куда ты пойдешь? Зачем? Оставайся со мной... Оставайся, слышишь!

Оля молча обняла ее за талию, и они пошли к дому.

У парадного, на крыльце, стояла Серафима Ильинична.

— Я вас, стрекоз этаких, я вас! — сказала она, придерживая у ворота голой рукой накинутый на плечи полушубок. — Что это вы тут шумите да торгуетесь так долго? Разве можно в этакий-то ветер! Он ведь вон какой пронизывающий. Как бы снег не повалил... — говорила она, входя вместе с ними в комнату.

И девушкам сразу сделалось веселей. Пока Серафима Ильинична разогревала им ужин и пила вместе с ними чай, рассказывая их о госпитале, о раненых бойцах и давая напутствие на дорогу, они охотно разговаривали с ней, отвечая на ее расспросы, и им обеим было легко и радостно на душе; ни та, ни другая ни словом не обмолвились о том, что произошло в госпитале. Они так и легли спать, не поделившись в этот вечер с Серафичкой Ильиничной мыслями, которые теснились у них в голове.

Уверенная, что все идет хорошо и Туфахон скоро будет счастлива, увидев своих родителей, и очень довольная тем, что ей удалось кое-что испечь девушки на дорогу, Серафима Ильинична скоро уснула.

А они лежали молча, почему-то боясь даже пошевелиться.

— Ты думаешь об этом, да?.. — спросила наконец Оля, не повернувшись к ней своего лица и лежа в темноте с открытыми глазами.

— О чём?

— Я знаю, о чём ты думаешь, — внезапно горячо заговорила Оля и повернулась к ней лицом. — Ты решашь теперь, ехать тебе

или нет. Но как же я? Как же я, если ты не поедешь?.. Впрочем, нет... Я не это хочу сказать. Дело, конечно, не во мне, но было бы лучше, если б ты сейчас уехала на эти недели... Ты только правильно пойми меня. Увидела бы своих старичков, отдохнула... Ой, да что я говорю, не то, не то. Совсем не то! Я больше ничего тебе не скажу...

Она замолчала и опять повернулась на спину.

— А как бы ты поступила? Как бы ты поступила на моем месте? — спросила Туфахон, когда после этого разговора прошло с полчаса в молчании.

— Я?!

Оля снова повернула к ней свое лицо и секунду помедлила.

— Я поступила бы точно так же.

Туфахон приподнялась на локте и в темноте стараласьглядеться в ее лицо.

— Правда, да?

— Разве я могу сейчас шутить или говорить неискренно?

Туфахон стиснула ее в своих руках, прижалась к ней и несколько секунд не отпускала.

И как только они обе поняли, что это решено, они стали разговаривать веселее.

— Когда ты приедешь к нам в Узбекистан, ты увидишь, какой это чудесный и богатый край, — тихо и восторженно шептала Туфахон, в волнении неверно выговаривая некоторые слова. — Ты увидишь наши сады, наш хлопок, наши плоды. Ты счастливая... Но теперь я тоже счастливая.. Если... Если все будет хорошо... Если Ботыр-ака поправится.

— Он поправится...

— А когда приедете в наш колхоз, ты, конечно, будешь жить в нашем доме. Да, да, в нашем доме. Только у нас, у моих старичков. И, пожалуйста, не вздумай отказываться.

— Но что я скажу твоей маме? Отцу?

Они шептались до самого утра, так и не вздремнув ни на полчасика и даже ни разу не смежив веки.

Утром они на несколько часов расстались: Протасова пошла домой готовиться к отъезду, а Туфахон к Березину, в райком. Войдя в кабинет, она поздоровалась с Березиным, села на стул и опустила голову.

— Что случилось, товарищ Норматова? — участливо спросил Березин.

Она вздохнула.

— У вас созрело новое решение, да?

— Да. Я не поеду сейчас в Узбекистан.

Она подняла голову и спокойно посмотрела ему в глаза.

— Это твердо?

— Твердо, товарищ Березин. Вы меня простите...

— Ну что ж, — сказал он со вздохом, — я вас понимаю.

Он подошел к ней.

— Не горюйте и не раскаивайтесь. Мы павестим ваших ста-

ричков. Не горюйте! Вы еще будете дома. И не одна, — добавил он твердо.

Она с благодарностью взглянула на него и глаза ее чуть-чуть повлажтели.

Вечером, проводив друзей и со щемящим сердцем взглянув в последний раз на поезд, который уходил в родной Узбекистан, Туфахон прямо с вокзала направилась в госпиталь.

Часть третья

I

Этой зимой ей пришлось пережить большое испытание, которое заставило ее повзрости на много лет и стало памятным на всю жизнь. Туфахон поняла, что больше никогда не будет такой, какой была до этого, и что стала совсем по иному, но-новому смотреть на жизнь. Если раньше она часто действовала только по велению чуткого сердца, то теперь каждый свой шаг она могла глубоко осмыслить. Тяжесть этого большого испытания она почувствовала на своих плечах в тот миг, когда стояла на коленях у кровати Ботыра и, еще яснее, несколькими часами позже, когда, лежа вместе с Олей на постели, за всю долгую осеннюю ночь не смыкала веки.

И вот начались дни, недели и месяцы этого тяжкого испытания. Она боялась за жизнь Ботыра, как только может бояться девушка, впервые всем своим чистым и искренним сердцем полюбившая юношу. И каждый день ее опасения все больше и больше возрастали.

Ботыру становилось хуже. Он лежал желтый, исхудавший, с безжизненно равнодушным взором. Надо было наклониться, чтобы услышать слово, которое он хотел сказать. Когда Туфахон входила в палату, в глазах его на одно мгновение вспыхивал свет, а затем, через минуту, Ботыр, видимо, уже уставал, веки его опускались и он долго и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Часто она уходила, не услышав от него ни одного слова. Не раз она заставала его в беспамятстве, с высокой температурой.

Однажды, это было уже через несколько месяцев после первой встречи, когда делегация, ездившая в Узбекистан, давно возвратилась, Туфахон пришла в госпиталь вместе с Олей. Девушки привезли с собой подарок Ботыру, который ему прислали из родного колхоза и который Туфахон берегла, чтобы преподнести, когда он выйдет из госпиталя, — богатый шелковый полосатый халат и расшитую узорами зеленую тюбетейку. Не дождавшись этого дня, она, после короткого совещания с подругой, решила порадовать этим Ботыра сейчас. Но когда они вошли в вестибюль и начали было раздеваться, к ним из коридора вышел невысокий черноволосый мужчина — дежурный врач, которого Туфахон видела здесь впервые, и сказал девушкам, что сегодня к Ботыру Сабирову входить нельзя, что он лежит в отдельной палате и ему

нужен абсолютный покой. Сначала они растерялись и глядели на врача испуганными глазами, не в силах произнести ни слова. Потом робко попробовали его уговорить, чтобы он все-таки их пропустил. Наконец стали настаивать, грозили позвонить Березину в райком, затем, уже не стесняясь, вытирая мокрые глаза платочками и часто сморкаясь, просили вызвать начальника госпиталя майора Гринберг, но врач был непреклонен и девушки так и ушли, не посмотрев на Ботыра даже издали.

С тяжелым сердцем вернулась Туфахон домой. Тысячи мыслей и подозрений витали в ее голове. Ей казалось, что удар, которого она так боялась, или уже свершился, или близко навис над ней, и теперь никакими усилиями невозможно было его отвратить.

На следующий день ее опять не пропустили, и Туфахон снова никого не увидела, кроме незнакомой медицинской сестры, которая вышла к ней в вестибюль.

Так тянулось с неделю.

Наконец, на шестой или седьмой день, когда она явилась в госпиталь с твердой и злой решимостью добиться во что бы то ни стало свидания с Ботыром, к ней навстречу совершенно неожиданно вышел сам профессор с сияющим лицом.

— Ну, здравствуйте! Здравствуйте, девушка. Ай.. Ай, какие решительные и алые у вас глаза! И это все на нас, на нас, на врачей?! Ай, ай, девушка! Идите. Идите к нему! Вы увидите, как он прекрасно выглядит. Идите! — говорил профессор, одновременно здороваясь, набрасывая на нее халат и увлекая Туфахон за собой. — Операция удалась блестяще. Воспалительный процесс в области печени и большое нагноение, которое там скапливалось, теперь ликвидировано. Температура становится нормальной. Он хорошо ест. Да, да, ест! — продолжал профессор, глядя, как лицо ее все больше и больше становится растерянным. — Что же касается ноги, то он будет ходить без палочки. Вот, пожалуйста!

Он открыл дверь в палату и пропустил Туфахон вперед.

С минуту она стояла у порога, глядя на Ботыра. На миг ей показалось, что все это счастье — сон, и она сейчас приснется. Но она чуть заметно тряхнула головой и сделала несколько порывистых и быстрых шагов.

Лицо Ботыра просветлело. Он выпростал из-под одеяла руки, протянул ей навстречу, несколько мгновений подержал ее пальцы в своих ладонях, точно хотел согреть, и наконец глубоко и облегченно вздохнул, положив свои длинные смуглые руки вдоль тела, поверх одеяла.

— Вы пришли... Туфахон... джоним... и мне стало совсем легко. На дворе мороз?.. Как хорошо!.. Как мне радостно, что вы пришли.

А Туфахон все смотрела на него молча, и только обильные слезы легко катились по ее лицу.

Профессор вышел.

Они не заметили, когда он вышел, они не замечали, не видели больше ничего вокруг, кроме друг друга.

— Ботыр-ака... Вам лучше?! Да?!

И уже больше не сдерживаясь и ни о чем не думая, она стала покрывать поцелуями его худые горячие руки.

Она почувствовала свое счастье еще яснее и глубже, когда шла из госпиталя домой. Никогда, никогда раньше не было у нее в душе столько светлых надежд на будущее, сердце не было так переполнено радостью и жизнь еще ни разу не казалась ей так прекрасна и щедра.

Ей хотелось петь. Ей хотелось сейчас же, немедленно, увидеть Олю и крепко сдавить ее своими руками. У Туфахон даже мелькнула мысль позвонить Березину и поделиться с ним своей радостью. Но позвонить она не решилась. Она даже не пошла к Оле, а направилась прямо домой.

Снег хрустел под ее ногами, и ей было радостно от того, что он такой чистый и так звонко хрустит. Мороз пощипывал щеки, и Туфахон казалось, что он заигрывал с ней как живое существо: она лукаво погрозила ему в темноте пальцем, слегка потерла щеки ладонями и прошептала про себя чуть слышно: «Вай, джигит, не заигрывай!». И ускорила шаг.

Дома она все рассказала Серафиме Ильиничне. Добрая женщина, с умилением глядя на ее веселое, жизнерадостное лицо, пролезилась. А для Туфахон все на свете казалось теперь совсем иным, не таким, как несколько часов тому назад. Согревая на плитке для себя чай, она внимательно и долго прислушивалась, как шумел чайник, тоненько высвистывая трели, и вдруг громко расхохоталась: она вспомнила бобо-Рахима, своего дедушку, который точно так же свистел и жужжал носом, когда спал, бывало, летом на суфе.

Это веселое настроение не покидало ее ни ночью, ни днем. До самого рассвета, пока она не проснулась, ей грезились какие-то золотые счастливые сны, какие бывают только в детстве, а утром, когда она вошла в цех, все заметили ее необыкновенно радостное лицо. Иван Павлович, видя, как все спорится у нее в руках, сдвинул очки на лоб, поглядел на нее довольным отеческим взором и сказал ласково:

— Чудо-девушка! Молодец! Если на фронте у нас есть чудо-богатыри, то в тылу имеются чудо-девушки. Молодец Норматова! Люблю бодрых, жизнерадостных и крепких духом людей. Только ты гляди... не того... — И он многозначительно помахал перед своим носом указательным пальцем. — Не зазнавайся!

Туфахон не знала усталости. С каждый днем она работала все с большей и большей радостью, точно была уверена, что труд ее принесет счастье им обоим: и ей и Ботыру. Она успевала почти ежедневно бывать у него, приносить ему то сушеный инжир, который он так любил, то гранаты, то лимон, и трудно сказать, как удавалось ей все это раздобыть в ту тяжелую зиму. Несколько раз она даже варила для него плов и, накрою сложив его в эмалированную миску, плотно прикрыв сверху тяжелой глиняной чаш-

кой, чтобы он не остыл, и увязав в платок, ночью несла ему в госпиталь.

Ботыр выздоравливал теперь быстро. Через месяц он мог уже подниматься и ходить по палате, неуверенно опираясь на костыль, так как раненая нога все еще давала себя чувствовать.

Когда наступила весна, он стал выходить на веранду и иногда подолгу засиживался там вместе с Туфахон, если у нее случайно оказывался свободным вечер.

Все эти несколько месяцев, в течение которых Ботыр выздоравливал, Туфахон была счастлива. И, казалось, теперь уже ничто не могло изменить и нарушить этого счастья.

Но однажды, когда они теплым июньским вечером сидели на веранде госпиталя и, как это часто бывало, долго молчали, глядываясь друг в друга сквозь светлые синие сумерки, Ботыр неожиданно сказал:

— Через десять дней меня выпишут. Дадут на шесть месяцев отпуск. Думаю поехать в Ташкент... Домой.

Сначала, когда стечливый, ясный в тишине звук его голоса и слова дошли до ее сознания, она обрадовалась. «Через десять дней меня выпишут», — повторила она мысленно, в восторге.

Потом вдруг острая, как боль, тревога проникла в сердце и оно куда-то ухнуло, упало.

— В Ташкент?! Ботыр-ака... Домой? — переспросила она, бледнея и все шире раскрывая глаза.

— Конечно, — сказал он просто. — Ведь целых шесть месяцев...

Она почувствовала, что не может вздохнуть, перевести дыхание, точно кто-то внезапно взял ее за горло.

Наконец справилась с собой, продолжая молча смотреть на него. Но она была так ошеломлена этим, что не знала, что еще можно ему сказать и, к великому изумлению Ботыра, ушла домой молчаливая и грустная.

В продолжение последующей недели она не могла к нему вырваться, и Оля Простасова принесла ей наконец от Ботыра записку: «Туфахон, джоним моя! Я не знаю, на что ты обиделась. Разве я не сказал, что хочу ехать вместе с тобой? Если не сказал вслух, так это было согласовано между нами без слов. Как же я мог подумать уехать ~~иначе~~, ~~без тебя~~?.. Нет, без тебя я никуда не уеду, так ты это и знай. Завтра, в воскресенье меня выписывают. Если будет время, приходи. Не сердись на меня. Ботыр».

Туфахон совсем потеряла голову и перестала владеть собою. Все смешалось в ее душе: и облегчение от того, что она неправильно поняла Ботыра, и чувство все заполняющей радости, что сини поедут вместе и будут все время вместе, вдвоем, и мечты, и представления о том, как их встретят в колхозе, как обрадуются старики-родители, и трезвые рассуждения о том, кто же сейчас отпустит ее с завода, когда завод получает все новые и новые срочные заказы. Да и как она сможет уехать, если даже ее и отпустят... А если Ботыр останется здесь, что он будет делать? И где он будет жить? Куда, в конце концов, он завтра придет? Где

ей встроить его? Здесь, в этом доме, у Серафимы Ильиничны? Но ведь это невозможно! У Туфахон никогда не повернется язык попросить у хозяйки разрешение даже пригласить Ботыра к ним в гости.

Да, куда, в самом деле, она поведет его завтра из госпиталя?..

Все эти мысли так волновали ее и так вскружили ей голову, что Туфахон сделалась почти больна. Вечером, когда они с Серафимой Ильиничной сели ужинать, Туфахон сказала:

— Ботыр-ака завтра выписывается из госпиталя. Поправился. И больше ничего не добавила.

Однако Серафима Ильинична была искренне обрадована этим сообщением и даже взмолнилась, вспомнив свою дочь Лизу, которой за время войны ни разу не довелось побывать дома.

Серафима Ильинична вдруг принялась ухаживать за девушки пуще прежнего. После ужина сама разобрала ее постель и несколько раз ласково, точно она обращалась к ребенку, повторила:

— Ложись, доченька, ложись. Спи.

Утром, едва рассвело, Туфахон поднялась с постели и тихонько, чтобы не разбудить Серафиму Ильиничну, стала одеваться.

— Это куда же ты в такую рань?.. Украдкой хочешь удрачить? — раздался спокойный голос Серафимы Ильиничны, которая, видимо, уже следила за ней из-под одеяла. — Нет, доченька, без завтрака я тебя не отпущу. Надо позавтракать.

Она встала и тотчас же затащила оладьи.

Туфахон ходила по комнате смущенная, молчаливая, словно не зная, куда себя деть. Серафима Ильинична возилась с оладьями и несколько раз украдкой наблюдала за ней. Подавая на стол румяные, облитые медом оладьи, как будто между прочим, сказала:

— Он куда же думает идти-то из госпиталя? К друзьям, что ли, своям? А вы уж этак вот сделайте, не обижайте старуху, никуда не заходите, а из госпиталя прямо ко мне. Прямо ко мне, — повторила она, стоя над сковородкой и твердо глядя на Туфахон. — Поняла? Конечно, он для всех теперь желанный гость, ну, а ко мне, как к матери, он должен притти в первую очередь. Ко мне и к тебе прежде всех.

Туфахон не удержалась, подбежала к ней и, обхватив ее за шею, раза четыре подряд поцеловала в щеку.

С этой минуты она вдруг сделалась веселее.

Серафима Ильинична отложила в отделенную тарелку десятка полтора оладьев, поставила стакан меду и сказала наставительно:

— Это вот ему отнесешь. Пусть поест. Пока все не съест, не выпускай его на улицу.

Туфахон улыбнулась и ответила, что она передаст это Ботыру, как ее, Серафимы Ильиничны, наказ, и тогда он непременно послушается.

Они уже кончили завтракать и Туфахон допивала свой чай, когда вдруг на крыльце послышались чьи-то шаги и в дверь постучали. Туфахон кинулась к двери, отворила ее и, внезапно вся

преобразившись, широко раскрыв глаза и осталбенев от изумления, в первую минуту не могла произнести ни слова.

— Ботыр-ака.. Вы пришли!.. Как же вы разыскали нас, — задыхаясь от волнения, проговорила она по-русски.

— Можно? — вместо ответа спросил он, спокойно улыбаясь и больше обращаясь к Серафиме Ильиничне, которую заметил за спиной Туфахон, чем к девушке.

Серафима Ильинична ничего не сказала, только поспешно потянула к глазам скомканный фартук, взяла Ботыра за рукав шинели и ввела его в комнату.

— Сымай, сыночек, сымай! — проговорила она, помогая ему стаскивать с себя вещевой мешок, шинель и шапку. — Зачем же ты это спрашиваешь! Ты ведь у нас самый желанный гость. Самый желанный. Мы тебя как пирога из печи дожидались, — добавила она и улыбнулась, выгиная глаза ладонью. — Проходи, проходи к столу. Садись.

И эта проникновенная материнская ласка Серафимы Ильиничны, и сам неожиданный приход Ботыра до глубины души растроили Туфахон. Она едва сдерживалась, чтобы не заплакать.

Ботыр расправил гимнастерку, прошел к столу и сел на табурет.

— Я все-таки быстро вас разыскал. Мне этот район знаком. Мы здесь когда-то с батальоном стояли. Учебный период проходили, — сказал он, поглядывая на Серафиму Ильиничну.

Туфахон сидела против него и то смотрела ему в лицо, то переводила взгляд на его грудь. На груди у Ботыра сверкали ордена Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и медаль „За отвагу“.

— Ботыр-ака... — только и могла она прошептать всего лишь одно это слово.

У них за спиной Серафима Ильинична хлопотала возле шкафчика.

— Олењка-то наша не знает, а то бы она сейчас прискочила. Она ведь у нас тоже ласковая, — говорила Серафима Ильинична таким голосом, точно Оля была ее дочь.

— Она за цветами пошла. Мы ведь с ней вместе хотели итти в госпиталь. Я должна была за ней зайти. Теперь она скоро сюда прибежит, — сказала Туфахон.

— Прибежит, куда денется!.. — спокойно подтвердила Серафима Ильинична.

Она поставила на стол бутылку красного вина, извлеченную откуда-то из сундука, варенье, маринованные грузди, подложила еще горячих оладьев и, не садясь, разлила по рюмочкам вино.

— Ну, сыночек, и ты, доченька, поднимайтесь! Выпьем по рюмочке за твое здоровье. У нас, по русскому обычаю, гостей любят вином встречать.

Они посмотрели на нее с глубокой благодарностью, потом весело переглянулись, встали и взяли со стола рюмки.

(Окончание следует)

ОДНОПОЛЧАНИНУ

Пусть отдохнет оружие,—
Горнист пропел отбой.

— Прощай, соратник мужества,
Однополчанин мой!

Я предан солнцу Азии,
А ты — полярным льдам,
У нас дороги разные...
Но разве в том беда?

Для дружбы — бесконечные
Дороги коротки.
А мы с тобою — вечные
Друзья и земляки.

Уж рельсы паром вымылись
Под музыку гудков...
Ну, что ж, давай обнимемся,
И уговор таков:

Теперь в какую б сторону
Отсюда ни ушли —
Повсюду с другом поровну
И хлеб и соль дели!

Ты помнишь: враг кругом и дым
Тяжел. И нету рек.
И небольшой глоток воды
На восемь человек.

И си помог пройти тебе
По выжженным полям...

Теперь же — праздничный обед
И труд — все пополам!

Огнем спаяла нас война —
Огнем лихих годин.
Одна любовь. Судьба — одна.
И путь у нас — один.

...Уйду — и не поверится,
Что нет тебя со мной,
Тебя, соратник верности,
Товарищ фронтовой.

ЧИННАРГОПОНДО

ТУРАБ ТУЛА

ВЕСЕННИЕ ЭТЮДЫ

1.

Безо времени и слям хуже поминальной молитвы.

Ходжи-тараз¹ — весовщик колхоза „Михнатчи“ — был доволен сегодняшним днем. Постукивая палкой по стволам придорожных деревьев, он размашисто шагал по широкой гравийной дороге и беззаботно напевал мотив какой-то очень веселой песенки.

Солнце щедро поливало землю теплом; ласковый весенний ветерок курчавил молодые, только что распустившиеся листья деревьев, осыпал на дорогу лепестки цветущего урюка, миндаля — белые, розовые...

Хорошо!

На голове у Ходжи-тараза обернутый в мешок котел, на плече — пустой хурджун, за поясом — уполовник и шумовка; но груз этот никак не стеснял его движений и, тем более, не мешал ему петь.

Хорошо!

Ходжи-тараз запел громко, во весь голос:

Чайхану б на берег сая²,
В чайхане б побольше чая;
День работать, два гулять,
Вот бы жизнь — не надо рая!

— Вот бы жизнь — не надо р-р-а-я-я! — повторил Ходжи-тараз последнюю строку песни так громко, что с полдесятка маленьких птичек, хлопотливо шнырявших между ветвями придорожной джиды, испуганно застыли на своих местах и затем враз, как по команде, взмыли в воздух.

¹ Тараз — сокращенное таразон — весовщик, в данном случае — прозвище.

² Сай — река.

Кося глазами из-под котла влево, вверх, в бездонную синь, Ходжи-тараз залюбовался полетом птиц. Стайка поднялась почти к самому небу и вдруг, стремительно ринувшись вниз, опустилась на вспаханное поле...

Лицо Ходжи-тараза расплылось в улыбке.

Чайхану б на берег сая...

Чтоб сократить путь и, кстати, еще раз вспугнуть птичек и полюбоваться их полетом, Ходжи-тараз шагнул по направлению тропинки, что лентой вытянулась по меже рядом с пашней, и замер. Покрывая звуки песни, со стороны поля послышался раскатистый смех.

Ходжи-тараз скосил глаза: далеко по полю двигался трактор; подминая под себя кустики заселеневшей травы, из-под отвалов плуга ложились ровные пласти жирной земли. «Нет, это не оттуда».

— Салам, Ходжи!

Ходжи-тараз приподнял над головой котел и повернулся на оклик. Шагах в двадцати от дороги с сантиметром в руке стоял бригадир первой бригады Азиз-хан.

— Ийе! Не уставать вам, Азиз-хан! — стараясь быть любезным, ответил на приветствие Ходжи-тараз.

— Откуда вы, сладкогласый певец?

— Праздник весны справляли с раисом¹ на берегу сая. Халмат-ака оттуда махнул прямо в город, а я вот пеший остался.

— Так.. говорите, на прогулке были, — усмехнулся бригадир и, будто Ходжи-тараза здесь и не было вовсе, склонился над бороздой, проверяя глубину вспашки.

Плохо, когда язык начинает двигаться раньше, чем прикажет голова. Зачем я ему сказал? Этот шайтан обязательно напишет обо всем в газете и накличет беду! — Ходжи-тараз постоял с минуту и зашагал по тропинке. Он по-прежнему что-то мурлыкал себе под нос, но это уже была совсем не та песня.

2

Прикрытый котел не всегда остается прикрытым, тайна не всегда остается тайной.

Халмат Хайдаров прикрыл за собой дверь кабинета и, даже не взглянув на девушку, предложившую ему стул, хмуро остановился посредине приемной. Вслед за ним из кабинета вышел и секретарь райкома Турдыев.

— Я уезжаю в колхоз «Михнатчи», — коротко обронил он на ходу и, сделав знак Халмату, направился к выходу. Халмат нехотя поплелся за ним.

У подъезда их уже поджидала облупленная, видавшая виды «эмка». Хлопнули дверцы, «эмка» фыркнула, пыхнула два-три раза синим дымком и ласково запелестела шинами по мостовой.

¹ Раис — председатель.

Скоро они катили по тем местам, где незадолго перед этим шатал, распевая свой песни, Хаджи-тараз. Солнце так же щедро поливало землю теплом; ласковый весенний ветерок так же курчавил молодые листья деревьев и осыпал на дорогу лепестки цветущего урюка, миндаля, такие же белые, розовые. Так же, как и прежде, все располагало к радости, веселью. Но Халмату было не до песен. Он забился в угол машины и сидел понурый, задумчивый.

„Эмка“ свернула на проселок. Мимо побежали поля с ровными рядками кучек навоза, арбы, подвозившие удобрения, группы колхозников, занятых кто разбрасыванием навоза, кто очисткой оросительной сети. Секретарь обернулся к Халмату:

— Дружно работают! Это не ваши?

Халмат заерзal на сиденьи. В голосе секретаря ему послышались иронические нотки (как мог секретарь не знать полей, на которых он бывал десятки раз?!), но не ответить было неудобно.

— Соседи. Люди Аскара, — буркнул он.

„Эмка“ сбавила скорость. Теперь она медленно двигалась между расступавшимися перед ней колхозниками: кетменщики, заполнившие выбоины дороги землей, подносчики щебня, трамбовщики, приостановив работу, истропливо отходили в сторону, уступая дорогу. Кто-то, опершись на кетмень, приветствовал Турдыева, кто-то прощально махал ему рукой. Секретарь помахивал в ответ фуражкой и улыбался. Халмат же, стараясь остаться незамеченным, горбился в углу машины.

„Эмка“ остановилась перед группой колхозников, ремонтировавших мост. Люди укладывали последние бревна, вколачивали последние гвозди. К машине подошел человек средних лет в керзовых сапогах, выгоревших защитного цвета брюках и белой бязевой рубахе с открытым воротом, подпоясанной солдатским ремнем.

— У вас дело уже к концу подходит, Аскар-ака. Может, вам приняться и за дорогу „Михнатчи?“ — здороваясь с подошедшими, спросил Турдыев и взглянул на Халмата. — Неплохо было бы, а, Халмат-ака?

Халмат, избегая взгляда секретаря, пробормотал что-то нечленораздельное. Аскар поспешил ему на выручку.

— Мы с удовольствием, — сказал он. — Помогать соседям — обычай наших отцов!

И сами справимся, — нахмурился Халмат.

Неловкое молчание нарушил старик-колхозник с трамбовкой в руках.

— Мост готов, сын мой!

— Спасибо, отец! — поблагодарил Турдыев старика и, попрощавшись с Аскаром, сделал знак шоферу.

Халмат слышал, как старик-колхозник спросил: „Аскар-джан! Что то Халмат-бай будто не в духе?“ и как тот ответил: „Сегодня у них собрание. Колхозники, наверное, здорово распушат его овчинную подстилку, вот у него и забота“. Он хотел что-то сказать, но „эмка“ уже тронулась и покатила дальше.

Халмат еще глубже забился в угол машины. Мысли его прервал резкий толчок. Он исподтишка взглянул на секретаря. Турдыев с усмешкой кивнул в его сторону и предупредил шофера:

— Поосторожней! Мы выехали на главное шоссе Халмата-ака! Машина пошла вперевалку, по-утиному. На обочинах дороги то там, то сям виднелись редкие кучи щебня и песка. Турдыев обернулся к Халмату:

— Если не ошибаюсь, прошло уже дней десять-пятнадцать, как завезен этот щебень, а, Халмат-ака?

Халмат сделал вид, что не слышал вопроса.

— Выжидаете, когда полностью будет подвезен! — усмехнулся секретарь.

— Людей не хватает, — подняв голову, хмуро ответил Халмат.

Эмка внезапно остановилась. Халмата и Турдыева сильно встряхнуло. Из облака пыли, окутавшего машину, показалась спачала голова человека, сидящего на буфере, затем сбоку, на дороге, котел. Шофер, а за ним Халмат, выскочили из машины. Шофер бросился к пострадавшему, но тот уже поднялся сам и, протирая глаза, сердито говорил:

— Если язык свой утруждать не хочешь, приятель, так на то у тебя даровой крикун есть, чтоб «с дороги!» кричать. Ты же мог себя под ответ подвести!

Подошел Халмат с котлом в руках. Он протянул было котел хозяину, но тут же в ярости отшвырнул его далеко в сторону.

— Проклятье твоему отцу! — прошипел он.

Ударившись о землю, котел раскололся надвое.

Турдыев взглянул на котел, затем на пострадавшего, увидел на его плече хурджун, за поясом у половника с шумовкой и усмехнулся:

— Ходжи?

Ходжи-тараз резко обернулся и попятился от неожиданности.

— Я... засмотрелся на галок и... — забормотал он невнятно.

Секретарь показал на котел.

— Прикрытый котел должен, говорят, оставаться прикрытым, но этому котлу, видно, суждено было выдать тайну его хозяев и погибнуть именно здесь. Хорошо, что он успел послужить на празднике весны!

Ходжи-тараз метнул испуганный взгляд в сторону Халмата. Тот стараясь не смотреть на секретаря, отвернулся было, но тут расщеринность и смущение на его лице стали еще заметнее: впереди на мосту стоял, накренившись, арба со щебнем; рядом с мостом щипала траву тощая, с проступающими ребрами, лошадь: на шее у нее болтался хомут. На арбе стоял возчик и глазел на то, что происходило у машины.

Халмат, а вслед за ним и Ходжи-тараз, рванулись к мосту и с двух сторон подставили плечи под ступицы арбы. Халмат зарычал на возчика:

— Слезай с арбы... злосчастный!..

Арбакеш спрыгнул с арбы и схватился за оглобли. К ним на

помощь подошел шофер. Арба медленно сдвинулась и, громыхнув колесами на последней перекладине, скатилась с моста.

Халмат и Ходжи-тараз, суетясь и мешая друг другу, принялись торопливо подправлять доски моста.

— Это ведь только на один день! — крикнул им от машины секретарь. — Ходжи, отправляйтесь с машиной и пришлите из кишлака плотников, а мы с Халматом-ака пройдем по полям.

Турднев проследил, как машина прошла мост, и направился к меже. Халмат поспешил за ним.

— Вот видите, что у вас тут творится, — взглянул секретарь на Халмата. — А скажет кто, вы готовы до небес прыгать, огрызаясь. Разве не правда все то, о чем писал в газете Азиз-хан? Вот этот мост, он, если не ошибаюсь, только вчера был починен... И все у вас так делается, Халмат-ака, кое-как...

Некоторое время они шли молча. Секретарь, хмурясь, прошел мимо увязшего в земле трактора и остановился у покрытого ржавчиной, брошенного в борозде плуга.

— Допустим, что за трактор отвечает МТС, а за плуг?... — спросил он.

Халмат сделал попытку оправдаться:

— Сколько раз было говорено...

Секретарь махнул рукой:

— Мало говорить, надо делать... Вы только что сказали: людей нехватает. Станет ли председатель, у которого нехватает людей, снимать со звена такого опытного дехканина, как Джадарата, иставить его сторожем?

— Строптивый человек, лезет, когда не надо, со своими советами...

— Надо прислушиваться к советам, а не зажимать рот, — прервал Халмата секретарь — А Ходжи-тараз? Огорвать от дела такого йигита, как Ходжи-тараз, и только для того, чтобы спровоцировать праздник весны!

Халмат низко опустил голову.

— Что ж, пойдемте в кишлак. У вас ведь сегодня собрание. Хочу послушать, что будут говорить люди вашего колхоза.

3

Слово, сказанное миром,—
крепкое слово.

Колхозники, теснившиеся на террасе правления, недовольно зашикали — из коридора, гремя поднятым над головой чайником, вышел Ходжи-тараз. Он неторопливо, вразвалку сошел по ступенькам террасы и направился к чайхане по другую сторону улицы.

— Ходжи-ака! — окликнул его сидевший в машине шофер.

— Что, братец?

— Скоро кончится собрание?

— Уже подходит к концу. Ждите. Вам, похоже, и Халмата-ака придется прокатить, чтобы проветриться. Очень жарко приходится ему от колхозников!

Ходжи-тараз прошел в чайхану.

— Мамат-кабул, чаю!

Мамат-кабул с кувшином водкой руке и банкой пшона в другой стоял на деревянной суне и возился у клетки, подвешенной к потолку, — подливал воды и подсыпал корм перепелке.

— Пусть закипит, — равнодушно бросил он.

— Товба! ¹ Весь свет водой залило, а тебе, видно, еще и лодыжек не замочило?

Мамат-кабул подошел к краю супы и опустился на корточки.

— Хош-хош...²

— Председатель наш уже вверх тормашками полетел! Азиз-хан с Каримом против него выступили.

— А-а, — нисколько не удивившись, протянул Мамат-кабул. — Тебе Азиз-хан тоже, кажется, колпак наизнанку вывернул?

— Причем тут я? Мне давали, я брал. Отказываться было, что-ли?..

— Иде! — удивился Мамат-кабул. — Надо же и совесть знати! Как можно было, спину не гнувши, хлеб есть? Ударникам, которые двенадцать месяцев в году с поля не уходили — по два трудодня и тебе, подпевале председателя, — тоже два трудодня... Куда это годится?

— А весовщиком быть легкое дело, думаешь! — обиделся Ходжи-тараз.

— Э-э... три месяца в году работы...

— Зато я не променял, как ты, трактор на самовар, — съязвил Ходжи-тараз.

Мамат-кабул спрыгнул с супы, сердито вырвал из рук Ходжи-тараза чайник.

— А я не стал, как ты, мальчиком на побегушках у раиса, — буркнул он, склонившись над самоваром.

Спор их прервали громкие аплодисменты, послышавшиеся со стороны правления.

— Вот! — сказал, прислушавшись, Ходжи-тараз. — Это, наверное, Юлчи-бай дал свое согласие стать председателем.

— Правда, а?

Ходжи-тараз удивился:

— Чему ты радуешься? Теперь придется твоему самовару без тебя кипеть!

— Ничего, Юлчи будет за старшего, мы и чай будем покрепче заваривать!

— Как же, — искривил губы Ходжи-тараз, — Юлчи-бай обязательно оставит тебя в чайхане на боку лежать! Нет, придется тебе самовар на трактор сменить.

¹ Товба! — восклицание, выражавшее крайнее удивление.

² Хош-хош — так-так.

Мамат-кабул закрыл кран самовара и протянул чайник Ходжи-таразу.

— На трактор? — усмехнулся он.— Что ж, это дело нам знакомое, и бегать нам от него не к лицу, если... тракториста не будут равнять с потешником вроде тебя...

Ходжи-тараз не успел даже обидеться: со стороны террасы послышался говор, смех.

— Иш! Уже и собрание кончилось!.. — удивился он и вспомнил к правлению.

Ходжи-тараз вбежал в опустевший зал и, растерянный, опустился на стул при входе: в зале уже никого не было, только за столом президиума сидел Халмат, подавленный, с позко опущенной головой.

— Раис! — робко окликнул его Ходжи-тараз.

Халмат вскочил, будто в бок ему ткнули шилом, и, ошелохнавшись, взглянув на Ходжи-тараза, выбежал вон.

4

Кто отобьется от стада,
того волк съест.

Халмат и Ходжи-тараз сидели на супе посреди двора, отвернувшись друг от друга, и молчали. Халмат поднял голову, не оборачиваясь, протянул пустую пиалу Ходжи-таразу и угрюмо спросил:

— Так что говорил секретарь Юлчи?

— Халмат Хайдаров — опытный дежканин, его нужно использовать, но...

Халмат резко обернулся:

— Что „но“?

— ...но, — продолжал Ходжи-тараз, — либо в одной из бригад, либо...

— Довольно! — сердито прервал его Халмат.

Ходжи-тараз умолк.

— Так, — нечного погода заговорил Халмат, как бы рассуждая сам с собой.— Значит, Халмат больше ни к чему не способен, в нем больше не нуждаются, — и резко повернувшись к Ходжи-таразу, спросил:— Он в Москве учился?

Ходжи-тараз вылил остатки водки в пиалу, отшвырнул бутылку и уже потом ответил:

— Юлчи? Да.

— А разве в Москве хлопок сеют?

— Не знаю.

— Как не знаешь? — всхлипнул Халмат.

Он хотел сказать еще что-то, но услышал возглас жены: „Мунис-хан!“ — и обернулся, ища глазами дочь.

Мунис-хан стояла в проломе дувала, отделявшего дворы Халмата и Азиз-хана. Глаза Халмата вспыхнули гневом.

— Ходжи!

— Что изволите, раис? — вскочил Ходжи-тараз, торопливо протягивая Халмату пиалу с водкой.

Халмат машинально принял пиалу, но тут же со злостью выплюснул водку и, указывая на пролом в дувале, выкрикнул:

— Заложить!

Мунис-хан взглянула на мать, занятую мытьем посуды на террасе.

— Отец! — крикнула тетушка Саври. — Вы с ума сошли! Ходжи, не дурите!

Ходжи-тараз обернулся к Халмату.

— Заложить! — повторил приказание Халмат.

Ходжи-тараз нехотя взял кетмень, сделал несколько ударов и, плюснув воды, принялся месить глину.

Мунис-хан молча смотрела то на отца, то на мать. Халмат, стараясь не встречаться взглядом с дочерью, крикнул:

— Дверь моего дома отныне закрыта для Азиз-хана!

Мунис-хан резко повернулась и вышла со двора. Тетушка Саври накинулась на мужа:

— Чудно! Не даром говорят: худому и маслом не угодишь. Не любите слушать правду. Труд Азиз-хана был сладок, а слова горькими показались...

Тетушка Саври остановилась на полуслове: на пороге калитки стоял Юлчи.

— Ходжи! — окликнул он.

Ходжи-тараз вздрогнул и, не бросая кетменя, испуганно взглянул на нового председателя.

— А мое письмо? Что это значит? Лошадь бросил на улице, а сам здесь!..

Халмат подошел к Ходжи-таразу и взял из его рук кетмень.

— Иди, новый хозяин пришел, — буркнул он сердито.

Тетушка Саври заспешила навстречу Юлчи.

— Пожалуйте, Юлчи-бай, заходите!

Ходжи-тараз сделал было попытку прошмыгнуть на улицу за спиной Юлчи, но тот обернулся к нему:

— Сейчас отвезите письмо в колхоз „Пахта“ председателю, возьмите ответ, а затем отправляйтесь за удобрением.

— Хоп!

Ходжи-тараз скользнул в калитку. Халмат, делая вид, будто ничего не замечает, старательно месил глину и закладывал проход в дувале. Юлчи подошел к нему и некоторое время молча наблюдал за его работой.

— Не уставать вам, Халмат-ака! — поздоровался он. — Что ж вы Азиз-хана не пригласили на помощь?

Халмат молча продолжал заниматься своим делом.

— Этот человек с утра сегодня халат наизнанку одел, всеми недоволен, — заговорила тетушка Саври. — Другого дела не нашел...

Халмат хмуро взглянул на жену и, как был с колобком глины в руках, обернулся к Юлчи:

— Что с моим заявлением?

— Вот я и пришел к вам по этому делу, — ответил Юлчи. — Мы решили предложить вам звено...

— Что? Я же просил отпустить меня!

— Нет, Халмат-ака, об этом и речи...

— Все тебе уступаю, все! Только отпусти меня, уйду из колхоза! — перебил его Халмат, со злостью швыряя ком глины на место кладки.

Юлчи улыбнулся:

— Куда же вы собираетесь уходить?

— Куда? Куда голова клонит! Советская земля обширна, найдется место и для Халмата.

— Хорошо, пусть будет по-вашему, — сказал после некоторого раздумья Юлчи и, решительно повернувшись, направился к калитке.

Халмат раскрыл рот, хотел что-то сказать, но Юлчи уже не было. Тогда он со злостью отшвырнул кетмень, прошел к арыку, вымыл ноги и, натянув сапоги, вышел со двора.

Не прошло и нескольких минут, как Халмат уже входил в кабинет председателя колхоза. Юлчи был занят разговором по телефону:

— Нет-нет, товарищ Турдыев! Предлагал ему. И слышать не хочет...

Халмат хмуро взглянул на Юлчи:

— Скажи прямо: уезжает. Чего боишься?

Юлчи, не обращая на него внимания, продолжал:

— Да-да, звено предлагал ему, отказался... Хорошо, хорошо... Положив трубку, Юлчи обернулся к Халмату.

— Где мое заявление? — потребовал тот.

Юлчи помолчал, затем, как бы приняв решение, достал из папки бумагу и протянул Халмату:

— Вот.

— „Исключить согласно заявления“, — прочитал Халмат, резко повернулся и направился к выходу.

Юлчи остановил его:

— Сегодня заседание бюро, — предупредил он.

Халмат махнул рукой и выбежал на улицу.

Поработаешь — сыт будешь,
Не поработаешь — выть будешь.

Поднимая „шпорами“ пыль, по улице двигался трактор. Неожиданно путь ему преградила появившаяся из-за поворота арба. На арбе был Ходжи-тараз. Взглянув на тракториста, он рассмеялся:

— А-а... чайханщик! Салаам! Поздравляю!

— Тебя, кажется, тоже можно поздравить. Как тебе нравится

твоё новое занятие? Разобрал уже, что лучше: на арбе работать или у председателя на побегушках быть?

— А ты разобрал уже: в чайхане на боку лучше лежать или на тракторе работать?

Мамат-кабул отпустил тормоз.

— Ну, довольно болтать, — сказал он строго. — Освобождай дорогу, а то расплющу тебя с твоей арбой!

Ходжи-тараз, однако, и не думал сдаваться.

— Не торопись, — рассмеялся он, поворачивая вдоль улицы. — Ну, вспашець сегодня одним аршином меньше. Поедем вместе.

Трактор и арба пошли рядом. Ходжи-тараз снова принял подсмеиваться над Мамат-кабулом:

— Мамат-кабул, говорю, где же твоя перепелка?

— А вон она на арбе. Ишь как заливается!

Ходжи-тараз расхохотался:

— Нет, ты ошибся, на арбе петух!

— А если и петух, то оцищенный. Вчера на собрании тебя оципали, с коня, как говорится, ссадили.

— Меня что! Вот Халмат-ака, так того и с седла скинули, — еще громче расхохотался Ходжи-тараз, но вдруг спохватился и резко оборвал смех: — Ойе, пальван, я чуть не проехал!

— Болтать надо поменьше, — усмехнулся Мамат-кабул.

Ходжи-тараз свернул в переулок.

— Держись, Тараз! — крикнул ему вслед Мамат-кабул. — За руль трактора Мамат-кабул сел, теперь ты и удобрения не успеешь подвозить!

— Ладно, поспорим! — прокричал ему в ответ Ходжи-тараз и громко, во весь голос запел.

6

Тигр с пути своего не свернет,
Йигит слову своему не изменит.

Беззаботно помахивая кичкой, Ходжи-тараз выехал на главную улицу. Он только что кончил петь одну песню и теперь с увлечением затянул новую:

Удивлен я, поражен,
Наш рабс упрям, как слон:
Скинули его с коня,
А с седла не сходит он, —
Эх, чу!..

Проглотив последние слова песни, Ходжи-тараз остановился, — перед ним стоял Халмат.

— А, Тараз! Сулейман умер, и дэвы возрадовались. Ишь зевло разинул! — Халмат схватил за повод коня и зарычал: — Что-то очень весел ты, видно, Юлчи вернул ключи от амбара?

— Вы... это самое... — растерянно пробормотал Ходжи-тараз.

— Жиром оброс! — не унимался Халмат. — Забыл видно поговорку: «Верблюда ветер подхватил, козу на небе ищи?»

— Нет... не забыл...

Ходжи-тараз низко склонился к хомуту.

— Ходи, да оглядывайся. Я еще жив. Песни будешь петь, когда Халмата не станет. А пока не давай воли языку!

— Хоп, братец! — послушно пролепетал Ходжи-тараз и тронул было поводом коня, но Халмат остановил его:

— Вечером пригонишь арбу прямо ко мне на двор...

— Зачем? Еще...

— Халмат никогда не говорит дважды!

Ходжи-тараз окончательно растерялся.

— Вы затеяли нехорошее, — залепетал он испуганно. — Кочевать собрались. Вы и на меня беду накличете. Откажитесь от задуманного, раис...

— Мне и без твоих наставлений тошно!

— Хоп, хоп!

Ходжи-тараз с опаской взглянул в сторону правления колхоза и понукинул коня. Халмат еще раз предупредил его:

— Помни, Халмат не говорит дважды! — и решительно направился к своей калитке.

Скоро в доме Халмата начался настоящий погром. На террасу полетели ковры, кошмы, одеяла, подушки, заскрипели по полу сундуки, загремела посуда. Не удовлетворившись и этим, Халмат принялся гоняться за курами, поймал двух, связал им ноги подвернувшись под руку трапкой, швырнул на террасу, и только после этого тяжело опустился на стул. Посидев с минуту, он сунул руку в карман за тыквянкой с насом. Рука его натолкнулась на смятую бумагу. Это была выписка из решения правления. Он выругался и с осторожением принялся комкать ее, даже позабыв о нассе.

Мунис-хан, грустная и задумчивая, стояла, прислонившись к столбу террасы. Тетушка Саври сидела на ступеньках и, ни к кому не обращаясь, твердила:

— Едет и пусть едет, а я не поеду!

Разъяренный Халмат вскочил со стула:

— Замолчи, замолчи, тебе говорю! — заорал он.

Однако тетушка Саври была не из таких, что сдаются без боя.

— Не поеду, не поеду и все!.. — твердо заявила она.

Халмат, как ужаленный, вскочил со стула и с видом человека, который долго искал выход из создавшегося затруднительного положения и, наконец, нашел его, закричал:

— Да, не поеду, не поеду и все!

Тетушка Саври кинула быстрый взгляд в сторону мужа. Мунис-хан очнулась от своей задумчивости и вопросительно посмотрела на отца.

— Не поеду и все! — повторил Халмат. — Юлчи меня прогнал, видишь ли! Да-да, раньше, может быть, и уехал бы, а теперь не уеду, на зло не уеду!

Халмат, словно грозя кому-то, поднял руку и, увидев зажатую в кулаке бумагу, принялся рвать ее на мелкие части и пытаться вырвать на пол. Тут он заметил связанных кур, некоторое время недоуменно смотрел на них, затем решительно нагнулся и развязал им ноги. Куры с кудахтанием спрыгнули с террасы во двор. Халмат расправил спину и, с облегчением вздохнув, направился было к своему стулу, но тут взгляд его упал на Ходжи-тараза, стоявшего на пороге калитки, и он снова загорелся гневом.

— Не поеду, сказал, не поеду! — закричал он. — Убирайся со своей арбой!

Ходжи-тараз растерянно заморгал и зачастил, словно оправдываясь:

— Нет-нет, Халмат-ака, никакой арбы нет! Вас на бюро вызывают.

— А-а... — вспомнил Халмат и грузно опустился на стул.

— Сколько шуму из ничего, — с укоризной взглянула на мужа тетушка Саври, направляясь с охапкой подушек в комнату. — Растирахтелся, что мешок с орехами. Большие люди сажи заявление подают, чтобы их перевели на работу в поле, а он упирается, а он упирается...

Халмат досадливо махнул рукой и понуро опустил голову.

Джафар ата, встрепенувшись, поднял голову и недоуменно оглянулся: он сидел на стуле в коридоре правления. На стене, суетливо помахивая маятником, тикали ходики. Проснувшись окончательно, Джафар-ата встал и подошел к часам.

— Бой-бой, пять часов! — удивился он. — Неужели они все еще не кончили?

Старик подошел к двери с надписью: „Партком” и рывком открыл ее. В коридор ворвались клубы табачного дыма. Послышался голос Азиз-хана: „Вопрос ясен, товарищи. Халмат-ака и сам признал свои ошибки. Теперь можно перейти к пре ложениям. Есть два предложения: первое — исключить Халмата-ака из рядов партии, и второе — ограничиться вынесением ему строгого выговора. Голосую, кто за первое предложение... Один человек...“ Джафар-ата поспешил закрыть дверь, вернулся на прежнее место и опустился на стул. Он некоторое время сидел, задумавшись, затем тихо заговорил сам с собой:

— И правильно делают... Халмат-бай, правда, зазнался немного, и меня он обидел ни за что, но все-таки он любит землю и хлопок...

Дверь парткома неожиданно открылась. В коридор вышел Халмат. Не замечая поклона Джафара-ата, он молча прошел по коридору, сошел по ступенькам террасы и повернулся налево к сво-

ему дому. Джадар-ата вышел на террасу. Не доходя десятка два шагов до своей калитки, Халмат замедлил шаги, потом остановился, несколько минут постоял в раздумье, повернулся назад, затем своротил направо по главной улице кишлака и пошел, с трудом переставляя ноги, словно плечи ему давила тяжелая ноша...

* * *

Солнце уже поднялось над горизонтом. Джадар-ата, собравшись домой, сошел с крыльца и остановился: к правлению, разевая полы яхтака, торопливо шел Халмат.

Из-за угла правления показался Юлчи. Он подошел к крыльцу и остановился рядом с Джадаром-ата.

— Вот...

Халмат еще издали протянул руку, показывая на ладони комок сдавленной в горсти земли. Юлчи хотел взять землю, но Халмат отвел руку.

— Ты не знаешь. Вот отец — хорошо знает, — сказал он и протянул комок земли Джадару-ата. — Взгляните на эту землю...

Джадар-ата взял землю, размял ее на ладони.

— Это с заброшенного участка, того, что около сломанного чигирия, — помолчав, проговорил он.

Халмат, стараясь скрыть волнение, обернулся к Юлчи:

— Хочу испытать на этой земле свое счастье, Юлчи-бай!

Юлчи задумался.

— Что, не нужно? — резко спросил Халмат, поняв это молчание по-своему.

— Почему? Нужно, — вскинул на него взгляд Юлчи, — обязательно нужно. Только...

— Что „только“? — не дал ему договорить Халмат. — Тяжело будет, думаешь? Я осилю!

— Воды там...

— В этом году обойдемся чигирем. Нужны только люди...

— Люди? — Юлчи повернулся к двери правления. — Идемте.

Халмат и Джадар-ата направились вслед за Юлчи и, поднявшись на террасу, по коридору прошли в канцелярию. Юлчи обвел взглядом помещение. Здесь сидело немало людей, и у каждого над столом табличка: „главный бухгалтер“, „помощник главного бухгалтера“, „счетовод“, „помощник счетовода“, „кассир“, „главный табельщик“, „помощник главного табельщика“ и много других.

— Вот вам и люди, — обернулся Юлчи к Халмату. — Вы, будто нарочно, заранее подобрали их для своей бригады. Мне хватит одного бухгалтера и кассира.

Халмат горько усмехнулся:

— В поле мне, пожалуй, придется над каждым из них зонт держать...

Юлчи поспешил успокоить его.

— Все они выросли под нашим солнцем, привыкнут, — сказал он. — Вот и Джадар-ата будет с вами. И тетушку Саври можете

взять. На восстановление чигири мобилизуют плотников из других бригад. А завтра трактор вам пошлю...

Халмат некоторое время пристально смотрел на Юлчи, неожиданно обнял его и, чтобы скрыть навернувшиеся слезы, заспешил к выходу.

— Он всегда вот так, — глядя ему вслед, сказал Джадар-ата. — Горячий человек...

8

Моих страданий, муки той не знаешь ты,
Что сердце терпит в разлуке злой,
не знаешь ты...

Мунис-хан оборвала песню, отодвинула в сторону блюдо с нарезанным луком и, вытирая рукавом слезы, взглянула на мать.

— Отец придет и опять начнет шуметь, — сказала она грустно. Занятая на кухне тетушка Саври обернулась к дочери:

— Что это ты плачешь, доченька?

— Лук злой очень...

Тетушка Саври улыбнулась.

— Да, этот лук... — сказала она ласково. — А о дувале не беспокойся. Отец покричит, пошумит и перестанет. Что он, враг своей дочери?.. Выбили ему юзчинку, и следует; не задирай пос, не забывай про дело.

— Что?

Тетушка Саври и Мунис-хан разом обернулись к двери: на пороге стоял Халмат.

— Что это ты, госпожа хорошая, не на работе? — строго сказал он. — Вот понадешь в мою бригаду, я тебе покажу, как колхозную дисциплину соблюдать!

— В какую-такую бригаду? — подняла голову от котла тетушка Саври.

— В мою бригаду.

Тетушка Саври улыбнулась, но тут же подавила улыбку.

— Не стану я работать в вашей бригаде!

— Это почему же?

— Не стану и только!

— А у кого же вы будете работать, почтенная?

— У Азиз-хана. Мне и дома надоели ваши придирики!

Халмат вскинул брови, потом нахмурился.

— Тише ты, — сказал он строго, — соседи услышат, скажут жена председателя с ума сошла!

— Какой же вы председатель? — усмехнулась тетушка Саври.

— Довольно, не срами меня!

— Сказала: буду работать у Азиз-хана, и все. Он хороший. Это вы только его не любите.

— Когда это я говорил, что не люблю его?

Тетушка Саври молча прошла мимо Халмата во двор, присела на корточки у арыка и принялась мыть рис.

— Так когда же я говорил, что не люблю Азиз-хана? — повторил Халмат, подходя к арыку. — Вот я сейчас...

Он вышел из арки кетмень и решительно направился к тому месту, где был заложен пролом в дувале.

— Вот я...

Халмат замахнулся кетменем и тихо опустил его: пролом оказался уже открытым.

Халмат недоуменно взглянул на жену, затем на дочь.

— Салам, Халмат-ата!

Халмат обернулся: в проломе, сложив почтительно на груди руки и склонив голову, стоял Азиз-хан...

Халмат протянул ему руку:

— Заходите, сын мой...

Перевел с узбекского Н. Ибашев.

СТИХИ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

ШУКУРУЛЛА

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Снежинки вьются мотыльками —
Они пушисты и чисты...
Но в этот час перед глазами
Встают весенние цветы.

Лихой мороз лесным узором
Покрыл поблекшее стекло.
Но в эту ледяную пору
В груди — весеннее тепло.

Метет метель неумолимо,
Но злоба стужи — не страшна;
В моей душе неугасимо
Живет бессмертная весна.

* * *

Солнцу вечно гореть суждено.
Злые тучи и ливень густой
Погрозят — и умрут.
А оно —
Засияет опять над землей.

Каждый день — с незапамятных лет
Солнце снова над миром встает.
Но кому не отраден рассвет?
Для кого не отраден восход?

О отчизна! Родная страна,
Ты мне сердце любовью зажгла.
Словно солнце — бессмертна она
И как утро — свежа и светла.

Перевел с узбекского
Мих. Быкадоров.

МАЛЬЧИКУ

В поднебесье взлетают птицы,
Над цветами — пчелиный рой.
В колыбели малыш круголицый
Ловит утренний луч золотой.

Луч скользит и бежит от ладони —
И смеется, смеется малыш...
Будет день — ты его перегонишь
И горячей душой покоришь.

Будет время — бескрайние дали
Станут воле покорны твоей.
Мы дрались — и врага побеждали
Ради жизни бесстрашных детей.

Победитель в солдатской шинели
Входит в дом и на сына глядит;
Рядом с ним — у твоей колыбели
Счастье верной подругой стоит.

В поднебесье взлетают птицы,
Над цветами — пчелиный рой.
Поднял руки малыш круголицый,
Ловит утренний луч золотой.

Перевел с узбекского
Мих. Быкадоров.

ЗАМИРА

Еще над строем белых гор
Восход лучей не распростер,
Еще молчит пернатый хор,—
Проснулась рано Замира.

Так с детских лет заведено:
Вставать с рассветом заодно.
И вот ударное звено
Ведет на поле Замира.

Здесь все проворны и дружны.
Куда ни глянь — кругом видны
Побеги радостной весны,—
И средь побегов — Замира.

Здесь каждый куст — живейший плод
Больших трудов, больших забот.
Для счастья родины живет
Сестра победы — Замира.

Она живет в цветах полей,
Как мать среди своих детей,
И что ни день — все горячей
С землею дружит Замира.

...Куда ни глянь — кругом видны
Побеги трудовой весны.
Душа на радость — для страны
Растит богатство Замира.

Перевел с узбекского
Мах, Быкдоров

МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ

ОЧЕРК

Земля почуяла весну, ее всесильное дыханье. Зазеленели в полях люцерна, ячмень. В розовое одеяние приоделись деревья урюка, в лилово-розовое — персиковые. Цветение их похоже издали на легкую и ароматную пену. Кажется, будто она тает под горячими лучами солница и, разливаясь вокруг, струит тонкий бодрящий запах.

Как ни рано пришла весна, а рад ей председатель колхоза Джурабеков больше, чем в прошлые годы, когда она запаздывала или приходила к сроку. По многим причинам рад. Старики по приметам говорят о высоком урожае. Но другая примета куда поважнее и значимее для Джурабекова — людская радость, подмеченная им в эту весну. Радость принесли газеты. И хотя Джурабеков сам накануне слышал о ней по радио, все же газету со сталинским документом, как назвал он постановление февральского пленума ЦК ВКП(б), перечитал несколько раз.

Крепко написано! В каждой строчке — насущное, то, чего ждали колхозники. Что ни слово, то забота о них. Только Сталин может так глубоко понимать сокровенные думы колхозников, знать, чем они живут, что нужно сделать, чтобы жили они еще лучше.

Не утихла в груди первая бурливая радость, а тут другая подвалила: самая высокая награда простым людям за их безупречный труд! Что может быть для колхозника выше звания Героя социалистического труда? И такая честь выпала звеньевой соседнего колхоза комсомолке Михри...

Джурабеков, довольный всем, раскинул руки. Он словно хотел выразить этим жестом свою радость, как если бы он сам удостоился высокого звания Героя социалистического труда. Лицо его, опаленное солнцем и теплыми весенними ветрами, приветливо засияло от нахлынувших в душу чувств. Бывают же такие счастливые весны!

Председатель колхоза подошел к заседланной лошади, привязанной к морщинистому карагачу, еще не успевшему пустить душистый лист, ласково потрепал гнедого по гриве, похлопал пошее. Сощурив черноватые с лукавинкой глаза, посмотрел на ветки

карагача с набухшими почками и подумал: весна торопится, успевать надо за ней.

А ранняя весна будто спешила поскорее захватить землю в свою власть, приодеть ее. Ожila трава и заслонила своей буйной зеленью прошлогоднюю засохшую щетину. Каждую минуту могли раскрыться пахучие почки и как изумрудная слеза блеснуть на солнце клейкими молодыми листьями.

Джурабеков все примечал. Весеннее настроение заметнее всего было на людях. Обновление в природе полонило их, и каждый будто увереннее вступал в жизнь. И председатель понимал: веру вселял сталинский документ большой и вдохновляющей силы. Эта сила питала людей надеждой, как земля пробуждающуюся в природе жизнь своим обильным соком.

Жажда деятельности обуяла всех. Тяга к труду в эти дни была всесильна. К председателю приходили колхозники, просили работы. Он давал ее людям и молчаливо радовался едvigу, который замечал в их душе. Он знал, отчего это произошло... Их настроение Джурабеков выразил секретарю колхозной парторганизации просто:

— Дело пошло на поправу. Организуй-ка соревнование.

И он не ошибся. Садовники старательнее прежнего высаживали яблони, груши, вишни, открывали виноград, пустивший смелые побеги. Звеньевые на полях по несколько раз в день проверяли — не появились ли первые всходы. Стремление в природе быстрее набирать силу, расти и крепнуть поднимало в людях их собственную веру в самое лучшее, к чему могли стремиться колхозники.

Джурабеков тоже подпал под их влияние. Он не мог не думать о звеньевой Михри. Она, как смелый молодой побег, манила к себе гордой славой. Любуйся и подтягивайся! У него в колхозе неплохие звеньевые; они сняли хороший урожай, а против Михри не вытянули. В чем тут дело? Он вынул из кармана свернутую газету с фотографией звеньевой, прочитал коротеньскую подпись. И как ни велика была его радость за звеньевую другого колхоза, где-то в глубине, как иголкой, колынуло: почему такая слава не его звеньевому?..

Джурабеков проезжал мимо работавших бригад. Женщины собирали сорняк на полях, большими охапками выносили его на межу и сжигали. Мужчины очищали оросительные каналы, боронили на волах, маловали почву, подносили в ведрах семена к тракторным сеялкам. Вместе с матерями работали подростки, выполняя посильный труд. Такого выхода людей в поле давно не бывало.

Возле раскидистой ветлы, росшей у хаузса, молодая девушка, звеневая первой бригады, смачивала семена свеклы. Смуглозолотистые семена жадно впитывали влагу и, будто нежась на солнце, вбирали живительное тепло его лучей. Аманова Бури,— так звали звеневую, засучив рукава платья, старательно перемешивала семена крепкими раскрасневшимися руками. Синяя шелковая косынка, перехватывающая ее тонкие косички, сбилась на

затылок. При виде председателя, Бури быстро приподнялась, вскинула голову, блеснула глазами.

Джурабеков коротко спросил ее:

— Входите?

Она поняла его и утвердительно кивнула головой. Председатель спрыгнул с лошади. Они зашагали к полю. Джурабеков, присев на корточки, стал рассматривать всходы свеклы. Нежные, бледно-зеленые листочки, только что выглянувшие из почвы, казались совсем слабенькими, неокрепшими, но уже радостно взирающими на мир.

Председатель хотел сказать девушки, чтобы она в нынешнем году постаралась перегнать Михри, но вместо этого спросил, знает ли Бури о последнем Указе? Аманова ответила, что агитатор сегодня рассказывал об этом, и тише, как показалось Джурабекову, добавила, словно угадав его мысли:

— Догоню...

Он поднял голову.

— Давай-ка, я поддержу тебя... — Глаза его блеснули, выдав беспокойные мысли.

Джурабаев пристукнул пальцем затвердевшую корку земли, поковырял ее.

— Задохнутся всходы, разбивать надо.

Они поговорили о том, как лучше это сделать, и решили немедля начать шаровку свеклы. Потом председатель направился в бригаду. Он не заметил, как вылетел испуганный жаворонок и, поднявшись в воздух, тотчас забыл о своем испуге; с высоты, как невидимый ручей, полилась его песня и неумолчно зажурчала в лазурном небе.

Лошадь Джурабекова трусила мелкой рысцой. Мысли его снова и снова возвращались к славе звеньевой соседнего колхоза, Михри.

Нынче площадь посева в колхозе увеличена в пять раз, а засеяна пока еще половина. Весна не ждет, весна торопится. Легко сказать — уложиться в сжатые сроки сева, но сделать это труднее.

О прошлогоднем урожае его колхоза говорили, что он рекордный. Большой урожай свеклы в стране снимали только отдельные звенья. Так добилась славы Мария Демченко на Украине. О ней много писали в газетах. Это было еще до войны. Звеньевая Михри собрала по 810 центнеров свеклы с гектара! Выходит — высокий урожай дает и узбекская земля. Честному труду все под силу. Свекла любит уход, а Михри — труд. Правду говорят: у труда родная сестра — слава.

Как же получить урожай выше прошлогоднего? Джурабеков перебирал в памяти все, что слышал от других и знал сам. Надо было найти какие-то еще неизведанные пути, чтобы поднять урожайность. Внутренний голос подсказывал ему — поехать к Михри, посмотреть, поговорить, поучиться... Он уцепился за эту мысль, как за спасительное средство. Но тут же подумал о стариках, о своих опытных бригадирах. Что они скажут, не обидятся ли? Может быть послать звеньевую Бури? У нее хватает смекалки. Мог-

лодая, но сама себе на уме. С достойной поговорит, сама достойной будет...

С этими мыслями он добрался до полей дальней бригады.

В ожидании, когда с косогора спустится „Универсал“, председатель проверил глубину заделки семян. Возле него появился колхозный агроном Бердымуратов, безусый парень в пиджаке с торчащими из кармана маленьким блокнотом и карандашом.

— По сколько засеваете? — разгребая бороздку, спросил председатель.

— По одиннадцать.

— Тяни до пятнадцати. Сев скорее кончать надо. Земля сохнет...

Подошел секретарь партийной организации, весь подобранный, в военной гимнастерке, туда перетянутой офицерским ремнем. Заворожили об ускорении темпов сева. Джурабеков горячился. Он говорил, что сеют медленно, хотя в бригадах и перевыполняют дневные нормы. Он ссылался на весну... Полевые колхозные работы должны поспевать за ней...

А трактор гудел совсем близко. За сеялкой, как дымок, поднималась тучка пыли. Председатель поднял руку. Чумазый „Универсал“ остановился. Лица тракториста и сеяльщиков, их одежда были бурыми от пыли. Лишь сверкали глаза, да алели влажные губы.

— Ты знаешь, твой „Универсал“ — молодец и ты — молодец! — обратился Джурабеков к трактористу. — Работаете хорошо, но надо еще лучше... Нажмите до пятнадцати. Премирию, обязательно премирию...

Тракторист — паренек лет семнадцати, не больше, растерянно пожал плечами. Он не понимал, почему требовалось еще „нажать“, если и так в колхозе его никто не обгоняет. Он потеребил фуражку, посмотрел на Джурабекова и улыбнулся: „мол, ладно, нажму“.

Джурабеков тоже улыбнулся. Пареньку стало совсем весело. Он рассмеялся и быстро вскочил на сиденье. Трактор вздрогнул и потянул за собой сеялку.

Председатель смотрел на удаляющийся трактор, на пыльные спины сеяльщиков и думал: „Сделает, этот сделает...“ Перед ним опять всплыла звеньевая Михри. Она не оставляла его ни на минуту.

Он отдал распоряжения агроному, напомнил секретарю партийной организации об Указе и передал ему газету. Тот ответил, что сегодня собирает вечером людей на полевом стане.

— Побольше пусть говорят о Михри. Слава крылата, она поднимает людей...

И решение пришло сразу. Джурабеков по-молодецки взобрался на лошадь.

— Сегодня она будет выступать у нас. Я привезу ее...

Он взмахнул камчой. Послушная лошадь понесла его на поля соседнего колхоза, где работала Михри. Мысль о героине не тревожила больше: ее заслонила колхозная весна со своими заботами.

Такой беспокойно-счастливой весны еще не было. И все от того, что она ранняя и врасплох захватила Джурабекова своим половодьем.

С Т А Т Ъ И

Большой памятник Ташкентской волынки из киргизского глиняного кувшина, созданный мастером Узбека, который оставил в своем письменнике Барханову свою откликнувшуюся на это письмо, в котором он пишет: «Мы не можем отнести к археологическим находкам эти предметы, но у нас есть археологическая коллекция, и мы можем показать вам, что это — настоящий памятник культуры».

К. НОВОСЕЛОВА

ХРАНИЛИЩЕ СОКРОВИЩ КУЛЬТУРЫ

Памятники древней культуры народов, населявших земли Средней Азии, издавна являлись предметом внимания ученых. Необычайный интерес к вновь открытому богатейшему краю с древней культурой и необъятной историей был всесторонним: хотелось собрать все ценное, все сохранить.

Особенным вниманием в дореволюционные годы пользовались археологические памятники Самарканда — его монументальные здания, послужившие отправным пунктом для изучения среднеазиатской архитектуры. Изучались орнаменты, изразцы, конструкции куполов и перекрытий, формы арок и колонн, подготавливалась почва для серьезных архитектурных исследований.

Вскоре появилось большое количество агентов иностранных антикварных фирм, скупавших уникальные остатки материальной культуры края. Было замечено, что масса собранных драгоценных коллекций и вещей безвозвратно уплывает за границу.

И вот, в маленькой газете „Окраина“ появилась заметка Заворинского, указывавшая на необходимость открытия такого учреждения, которое бы взяло на себя функции систематического собирания и хранения всех редкостей края, а также изучения их и показа широкой публике.

После этого выступления прошло долгих три года неутомимых ходатайств, прежде чем было получено разрешение на открытие при Самаркандском областном статистическом комитете „Музеума“. Это было в июле 1896 года.

Музей поместился в небольшой деревянной пристройке, прилегающей к церкви, и носил характер маленькой кунсткамеры. Здесь были частные пожертвования археологов-любителей, бессистемно собиравших „коллекции“ непаспортизованных вещей; дилетантские снимки „жанровых сцен на туземные темы“; подарки местных охотников, в виде чучел птиц и скелетов животных; украшения, ювелирные вещицы, немногого керамики, какие-то незначи-

тельные монеты, энтомологические и гербарные коллекции и образцы горных пород и минералов. Ни на какое научное значение подобное учреждение, естественно, претендовать не могло. В 1911 году было отстроено новое здание музея — кирпичное, в готическом стиле с прохладными сводами и стрельчатыми высокими окнами, застекленными цветными стеклами. Размещенный в нем, вместе с залом для народных чтений и библиотекой, музей принял более солидный характер, но существенных изменений в общей системе его работы не произошло.

Только после Октябрьской революции это учреждение приняло форму научного. С 1920 до 1923 года велась обширная работа по собиранию нумизматических коллекций; Самкомстарис поставлял огромный раскопочный археологический материал. В музее наметились отделы: археологический, военный, этнографический, минералогический, зоологический и ботанический. Но несмотря на эту систему, вполне укладывавшуюся в рамки нашей современной музейной систематики, в нем процветал сухой академизм и он был оторван от жизни. Поэтому в 1930 году музей был решением II курултая Советов Узбекистана реконструирован в Республиканский музей; перед ним были поставлены задачи научно-исторической пропаганды и культурно просветительной работы.

* * *

Белая металлическая решетка увита темной зеленью хмеля, яркими лозами винограда. За ней — сад, полный старых деревьев миндаля, махрового жасмина и роз. Маленький белый дом заключает в своих четырех комнатах экспозицию предистории и античности Средней Азии. Результаты раскопок стоянок первобытного человека на территории современного Самарканда свидетельствуют о том, что место это издавна было предпочтено нашими предками многим другим местам. Кремневые скребки и ножи, каменные наконечники стрел, черепки древней посуды из глины, обожженной на солнце, отпечатки грубых тканей — таковы исторические подлинники отдела предистории. Дальше развернута широкая картина доахеменидского периода. Материалы древнейшего в мире письменного источника Зенд-Авесты иллюстрированы материальными атрибутами истории — вещами, документами, произведениями искусства.

Истина всегда конкретна — этот нестареющий постулат материалистической философии хорошо осознается именно в музее, где историческое знание внедряется при помощи красноречивых, правильно размещенных вещей.

Зороастрийская религия, для которой трудолюбие — главная добродетель. Культ огня и рек, культ поклонения солнцу и земле, поэтической богине воды Ардвисуре Анахите „сверкающей блеском всех рек, текущих по земле“, богу воздуха Ваю, богу звезд — Тиштирии и богу луны — Маонга. Религия дуализма, религия вечной непримиримой борьбы света — добра со злом — тьмою. Всепобеж-

дающий, справедливый Аурамазда, говорящий от имени земли: „Человек, который пашет меня левой рукой и правой, правой и левой, вечно я буду помогать тебе, приносить тебе всякого рода пищу, все, что могу принести помимо зерна полей“. Рядом — его антитеза Ахриман, дух-предводитель злонравных демонов злобы и лжи — Айшмы и Друджа. В экспозиции показаны тучные настбища и поля земледельцев, скотоводов, охотников, великолепные изделия из стекла, камня, кости; показана превосходного качества керамика, свидетельствующая о высоком уровне ремесел Согдианы и Бактрии. Показана борьба наших предков за свободу и независимость народа. Вспоминаются страницы Кtesия и Геродота, описывающие верность, нежность и мужество женщин народа, — Томирис, Зоринай. Вспоминается сага о сакском настухе Шираке, заведшем войско покорителя-перса Дария в бесследную пустыню, где единственным растением был розовый тамариск. Ширак умер со словами: „Вы пришли, чтобы поработить моих соотечественников, я... привел вас туда, где вы умрете от голода и жажды.“ Такими были наши предки, скифы. Они умели быть искусными ремесленниками, скотоводами, земледельцами в мирной жизни, они умели быть смелыми и непоедимыми в бою.

В основном весь отдел оснащен и иллюстрирован коллекциями Виткина, собранными им на Афросиабе, и коллекциями Столлера, давшими уникальный металл и изделия из полудрагоценных камней (сердоликовые вазы, блюда и пр.). Кроме того, большой раскопочный материал был собран на Афросиабе работниками музея — преимущественно фрагменты панелей, фризов, капителей колонн, пиластр, деталей орнамента арок, постаментов из обожженной неглазурованной глины, мрамора и известняка. Отдел замыкается изящным медальоном с изображением всадника, видимому, являющего образ местного жителя этой древней эпохи.

* * *

Распластав лазурные хвосты на белом мраморе крыльца, сидят павлины. Кажется, для просушки вынесли искуснейшим образом изготовленные чучела — ведь мы в музее. Но при первом шаге наступени стая снимается с легким гортаанным криком и скрывается в чаще желтых лилий у аркы.

Монголы. Странные имена диких военачальников жестокого Чингиз-хана. Карта кровавых походов монгольских войск. Так вот они двигались по нашей земле, как показано на миниатюре эпохи; метали в нас вот такие стрелы. Луки их были вот такими неоольшими, легкими и очень изогнутыми. Сам Чингиз сидел где-то в саду, полном цветущих роз и гиацинтов, позади его трона из ляпислазури, яшмы и золота стояли его багадуры-телохранители с широкими мечами в руках. Перед ним — сыновья в шлемах и доспехах, перепоясанные кривыми саблями; сыновья Чингиз-хана, разодравшие в клочья сколоченную огнем и кровью огромную империю отца. Вот этот — Чагатай, в удел которого был

отдан Мавераннахр с Самаркандом. Лицо почти стерто временем. Таким было и его управление, сданное на руки подставных лиц, правивших „великим именем“. Героическое сопротивление самарканцев, бившихся за город и отстоявших его; неукрепленный даже стенами город был отбит, и многотысячная армия монголов была отброшена в сторону Семиречья. Историк пишет: „Повесив колчан за плечи и скрестив на груди руки, они ушли в степь“. Они ушли в степь, из которой пришли, оставив крепости и укрепленные толстыми стенами замки своих пайонов и вельмож — фрагменты стен этих крепостей, в виде резного кирпича и полуглазурованные фигурных плиток, мы видим в маленькой витрине рядом с образцами тисненой терракоты, алебастра и рельефных кусков глиняной штукатурки. В этот период появляется искусство китайского обжига глиняной посуды, новый орнамент из птиц и животных, новые рецепты глазури и керамических красок.

Идеалом каждой музейной экспозиции является воспроизведение исторического процесса в максимальной конкретности. В этом смысле отдел Тимура идеалом не является. Следует, однако, отнести это не за счет недостаточности фонда музея, не обеспечивающего вещами такой значительный раздел, а единственно за счет особенностей остатков материальной культуры той эпохи, слишком монументальных для интерьерной выставки. Огромная строительная деятельность, развитая Тимуром в Самарканде, сочеталась с разрушительной и грабительской его деятельностью в покоренных странах. Грандиозные сооружения мозаичных дворцов, мавзолеев, мечетей, украшенных мраморным кружевом, золотом и цветными изразцами; майоликовые своды чудесных медресе, бани и крытых базаров — все это было сосредоточено в центре тимурова государства, в Самарканде. В довершение всего вокруг Самарканда расположились селения, носившие имена величайших столиц мусульманского мира и символизировавшие величие Самарканда — столицы державы, границы которой были где-то около Алеппо, Брусы и Смирны, у стен Китая, на севере — по Иртышу и на юге — около Дели. Центр населенной части мира, цветник праведных, убежище справедливости, лицо земли — Самарканда. Двусветный зал занят Тимуром и его династией — тимуридами. В центре зала уникальный экспонат — гордость Самаркандинского музея — гроб Тимура, поглощающий внимание каждого входящего. И сколько бы раз вы не пришли в этот зал, — вы неизменно поддаетесь гипнотическому влиянию этой необыкновенно выразительной вещи. В дошедших до нас источниках приведены самые разноречивые сведения о подробностях смерти и погребения Тимура. Из современных Тимуру историков ни один не присутствовал на его похоронах, так как, из боязни смерти, Тимур, умерший во время похода на Китай в местности Оттар (около Арыси), был тайно доставлен в Самарканд, и тело завоевателя, надушенное камфорой и мускусом, было без всякой пышности так же тайно, почти без свидетелей, опущено в склеп усыпальницы Гур-и-Мира. Поэтому одни считали, что Тимур похоронен в мраморном саркофаге, украшен-

ном золотыми кольцами и запертом на ключ, брошенный в Зеравшан, другие считали, что Тимур просто, как правоверный мусульманин, погребен без гроба; третий верил Ибн-Араб-шаху, подробно описавшему погребение со слов очевидца, утверждавшего, что гроб, сделанный ширазским ювелиром, был из золота и стали.

Когда экспедиция ученых Узбекистана, вскрыв гробницу Тимура, извлекла его гроб и, заменив его новым оцинкованным гробом, уложила останки завоевателя обратно, Самаркандскому музею был подарен уникальный подлинник. Гроб сделан из тутового дерева, которое, как известно, содержит большое количество дубильных кислот, предохраняющих труп от разложения; это свойство тутового дерева давно известно на востоке, поэтому при погребении знатных и богатых путешественников или купцов, умерших в чужом kraю и отправляемых на родину, всегда пользовались деревом тута. В настоящее время дерево гроба еще довольно прочно, несмотря на то, что прошло около 550 лет со времени смерти Тимура. На крышке гроба сохранились фрагменты обивки из золотой и серебряной парчи, которая, повидимому, ввела в заблуждение честного историка, никогда не предполагавшего, что владетель столь обширных империй, при звуке имени которого люди трепетали „от гор Каф до гор Каф“, мог быть погребен в обычном деревянном гробу, обитом довольно дешевой парчой, как простой китайский продавец пуговиц или кашгарский паломник, совершивший хадж.

Отвлекшись, наконец, от гроба, сразу обращаешь внимание на остатки мраморных досок, служивших, по всей вероятности, для внутреннего украшения зданий. При взгляде на эти чудесные куски мрамора, с бесконечно-разнообразным цветочным и геометрическим орнаментом, становится понятным, почему знаток Средней Азии В. В. Бартольд писал, что эпоха Тимура „была эпохой небывалого внешнего блеска для Туркестана“.

В больших шкафах смонтированы куски изразцов, мозаик и майолик из дворцов и мечетей, образцы резьбы по дереву и породы дерева, использованного на эти поделки. На стенах помещены фотографии главных зданий Тимура и планы этих сооружений. Здесь же помещен гипотетический портрет Тимура, внушающий сомнение, потому что иконография Тимура является областью совершенно неизученной.

Около окна, в правой части зала, расположился отдел внука Тимура — Мирза Улугбека. К сожалению, история почти не донесла до нас ничего, кроме сообщений письменных источников (и то очень скучных), из арсенала предметов материальной культуры того времени, когда жил величайший человечек и значительный ученый Востока, каким является Мирза Улугбек. Вещей и документов в отделе Улугбека почти нет, за исключением небольшого количества мраморных осколков папели его обсерватории да нескольких изразцов из его медресе, которое вообще еще сохранилось довольно хорошо. В остальном все экспонаты отдела состоят из иллюстративного материала и вещей, аналогичных тем,

которыми могли пользоваться при дворе Улугбека (астрономические инструменты).

Очень богато представлена керамика тимуридских династий, размещенная в больших шкафах и необычайно многообразная. Трудно, порой, оторваться от блюда с цветком и птичкой, висящей на гибком, изогнутом под ее тяжестью, стебле. Совершенство керамической техники, несомненно, достигло своего апогея именно в эту эпоху расцвета наук и искусств улугбекова царства. Хорош также металл, показанный очень полно и рисующий картину изысканных вкусов и относительно высокой культуры людей XV века, имевших в обиходе такие изящные и превосходные сделанные вещи.

Выставка „Навои в Самарканде“, размещенная в общем зале с Тимуром и тимуридами, сделана на стене, украшенной резьбой по ганчу. Надо сказать, что по разнообразию и оригинальности орнамента и технике исполнения резьбы современные мастера пре-взошли мастеров этого рода искусства предыдущих столетий. В основном выставка дает представление о юношеских годах Навои, годах его трогательной и нежной дружбы с Абдуррахманом Джами, изысканность стиля которого Навои вполне оценил в своих ранних посланиях к поэту и изысканным стихам которого он так легко умел подражать.

Низкая дверь вводит нас в комнату шейбанидов. Оранжевая, с пестрыми коврами и щитами со странным оружием, совершен-но не похожая на все предыдущие экспозиции, она правильно передает состояние культуры страны, пораженной новым завое-ванием кочевников. Постепенная ассимиляция высокой культуры местного населения, но еще сохранившееся кочевые традиции в костюме, в образе жизни, в отношении к рабам, к представите-лям науки, искусства, ремесел. Своеобразная манера высоко мыслить о своей особе, витиеватые панегирики поэтов и... портрет царя, собственноручно режущего дыню себе на завтрак. К этому именно времени относится начало регулярных спопшней Средней Азии с Московским государством. Торговые записи и книги куп-цов-работорговцев, обмен рабов на товары, документы таможен-ных начальников, взимавших пошлины за проезд по русским рекам, охранные грамоты и челобитные ограбленных купцов.

Эпоха шейбанидов и мангытов была эпохой падения строи-тельного искусства. Выставленные фрагменты изразцов значительно ниже тимуридских и по технике их изготовления и по изяществу орнамента. В изразцах появилась довольно грубо введенная золотая отделка, а также черный, очень глубокий бархатный тон, на-лагающий, однако, на общий колорит облицовок оттенок мрач-ности. Хороша и тонка, тем не менее, многослойная резьба по камню на гранитном надгробии Абу-Саидхана, извлеченном из усыпальницы шейбанидов Чиль-Духтарон, и на ажурной каменной решетке, взятой оттуда же. Экспозиция заканчивается вторжением последнего из завоевателей-персов — Надиршаха. XVIII век — век полного упадка Самарканда, опустошенного и вырезанного кара-

тельными отрядами. На развалинах его, — пишет Абу-Тихир-Ходжа, — кроме филина и совы, обитателей руин, никого не осталось."

Подотдел истории, рисующий Туркестан, как колонию царской России, по сути дела является отделом этнографического порядка; в нем превалирует элемент описания быта. Пышность двора вассальной Бухары была известна далеко за пределами Средней Азии, и богатства эмирских сокровищниц не давали покоя многим капиталистам. Бедность и нищета народных масс не была известна за пределами Средней Азии и никому особенного беспокойства не доставляла. Народ изнывал под двойным гнетом национального феодализма и русского капитализма. Очень демонстративна экспозиция экономического и культурного состояния страны в период завоевания. С большим знанием дела подобраны вещественные экспонаты, дающие правильное представление о взаимоотношениях хозяина и работника: маджикера, ремесленника-трепальщика хлопка и бая-работодателя; показан быт женщин, занятых домашней работой; показаны различия быта семей разной материальной состоятельности: от серебряной посуды с превосходной насечкой и красных и синих чайников русской фарфоровой фабрики Кузнецова, ходивших под названием "кармин-чайник" и "кармин-пиала", — до примитивной глиняной, сравнительно плохо обожженной утвари, с поливой, далеко уступающей, например, тимуридской или даже скифской рецептуре. Наряду с этим в стеклянных витринах экспонированы вещи, бывшие в обиходе эмиров. Золотошвейные бархатные халаты, сапоги эмира бухарского Музаффара, тюбетейки и даже калоши — бархатные, расшитые золотом, надевавшиеся для парадности в особенно торжественных случаях. Вызывает большой интерес гардероб эмирских жен. Надо сказать, что, несмотря на огромное количество этих последних, туалеты их были роскошны и разнообразны. Перед нами, например, такой гарнитур: широкий халат, вернее, руацка из бледно-розового тисненого бархата с легким зелено-голубым рисунком. У ворота она, приблизительно на двадцать сантиметров, расшита золотом, в виде воротника. От этого золотого шитья вниз опускается широкая полоса той же золотой вышивки, переходящая на подол платья, повидимому, не вполне закрывавшего ноги, обутые в розовые, шитые золотом и серебром, атласные сапожки, с розовой же бархатной подошвой и задником (поражает крошечный размер сапожек, что, однако, вполне естественно, если вспомнить обычай Востока отдавать в замужество девочек, едва достигших 9-10-летнего возраста). Одеяние царицы дополнялось традиционной у женщин Бухары налобной повязкой розового газа, расшитой, в виде кокошника, золотом. Вообще, вероятно, вышивка золотой и серебряной канителью, а также подделками ее (померкшими от времени) была в большой моде. Рядом с этими блестищими нарядами красуется огромная кожаная плеть, прохаживавшаяся по спинам нерадивых плательщиков налогов, а также крамольных подданных эмира. Плеть эта носила далеко не символический характер и оставила вполне реальные

шрамы и рубцы на спинах людей, битых за неугодные эмиру политические убеждения.

Превосходно показано влияние русской культуры на культуру и быт жителей Средней Азии. Показан рост национально-освободительного движения и раскрыта связь его с русским революционным движением в России, возглавленным партией Ленина—Сталина. Множество документов, вещевых подлинников, фотографий, живописных экспонатов делает этот отдел одним из интереснейших в музее, несмотря даже на несколько устаревшую форму экспозиции этнографической его части, при которой использованы макеты и муляжи, оставляющие ощущение паноптикума.

* * *

Разнообразие сложных исторических проблем, решаемых нашими музеями, необычайно развило и продвинуло вперед технику музеиного дела в части теоретической, а богатство фондов, которыми располагают музеи в СССР, обеспечило им заслуженное признание самых передовых музеев мира, так как простота и глубина экспозиций, блестящее оснащенных вещевым иллюстративным материалом, делает их подлинными произведениями искусства. Но не только этим славны музеи нашей страны, не только многограновыми выставками памятников искусства и материальной культуры, а и большим познавательно-философским содержанием, во все это вложенным. Ленин писал: «Жить в обществе и быть свободным от общества — нельзя». И музейное искусство партийно, как всякое вообще искусство. Поэтому постановление ЦК ВКП(б) об искусстве вкорне изменило содержание работы Самаркандинского музея. Все силы были брошены на реэкспозицию отдела современной истории. Девизом отдела была взята цитата из резолюции VIII съезда ЦК КП(б) Узбекистана:

... трудящиеся Узбекистана, под руководством коммунистической партии, при помощи передового русского рабочего класса, быстро преодолели свою экономическую и культурную отсталость и превратили Узбекистан из аграрно-сырьевого придатка царской России в цветущую, передовую социалистическую республику, равную среди равных в великом созвездии могучего и непобедимого Союза Советских Социалистических Республик."

Первый раздел посвящен Октябрьской социалистической революции, эпохе интервенции и гражданской войны, роли Фрунзе, Кағановича, Куйбышева и Ворошилова в процессе формирования Советской Средней Азии. Интересно экспонирован отдел Соръбы с басмачеством, спасенный большим количеством документов и фотографий. Далее показаны народные республики Бухары и Хорезма и, наконец, мирное строительство после окончательного национального размежевания Средней Азии.

Затем идет детализация развития Узбекской республики — рост ее промышленности и сельского хозяйства. Много места удалено показу народных строек — грандиозных оросительных систем (Ля-

танский и Ферганский каналы, Катта-Курганское водохранилище, строительство электростанций и пр.) и культурному росту Узбекистана в области здравоохранения, народного образования, общей перестройки быта трудящихся республики. В части колхозного сельского хозяйства приведены любопытные цифры — введение новой агротехники, внедрение новых растительных технических культур, до этого в республике не возделывавшихся. Большое место отведено Конституции СССР и Конституции Узбекистана.

Наконец, Узбекистан показан в период Великой Отечественной войны. Экспозиция этого отдела выполнена блестяще. Высоко-художественные экспонаты делают ее самым впечатляющим местом музея. Надо сказать, что над пополнением этой выставки, входящей в Отдел Современности, потрудилось немало талантливейших мастеров живописи, литературы, скульптуры и музеееведения Союза. Экспонаты выставки отмечены такими именами наших русских художников, как Фаворский, Фальк, Моор, Касиян, Герасимов, не говоря о молодых талантливых художниках, которые с радостью отдавали свое искусство на дело патриотической пропаганды. Великолепные материалы, использованные ими — ведь каждый жертвовал самым лучшим из того, что у него было — придают особую прелесть созданным трудного военного времени. В финальной комнате — знамя и бюсты Ленина и Сталина. Конечно, строго, но очень просто и близко.

* * *

Мы выходим из экспозиционных помещений. Солнце, нагревшее кирпичные дорожки розария, служит в музее великим дезинфектором. Под его беспощадными лучами разослана целая коллекция изумительных ковров и паласов. Весь цветник застлан бархатными драгоценностями. Неизвестно, где цветник: в клумбах или на тропинках... Так убивают моль. Козочка, гуляющая в саду, склоняется мягкими губами к какой-то затейливой арабеске на ковре, показавшейся ей съедобной травкой.

Вся экспозиционная часть музея расположена в маленьком белом домике, стоящем в саду, и в громадном двухэтажном особняке с хрустальными окнами, чудесными потолками росписи ходжентских и кокандских мастеров и лепными стенами. Однако, богатства музея не исчерпываются экспозиционной его частью; основой всей работы является фонд, едва ли не в 20 раз превосходящий общее число экспонированных вещей. Фонд музея делится на археологический — с ценными антропологическими и археологическими коллекциями и разделом нумизматики — и этнографический, где хранятся коллекции одежды, вышивок, ковров, оружия, посуды, украшений из серебра и золота, древних музыкальных инструментов, картин, сельскохозяйственных орудий, национальных игрушек, мебели, седел, табакерок (наскладу), золотоплавильных вещей и множества других. Каждая коллекция насчитывает басно-

словное количество номеров, и стоимость всего этого „не вмещается в сосуд воображения и приблизительного счета“.

Из числа вспомогательных учреждений музея следует отметить библиотеку и фототеку его. Кроме того, в музее имеется отдел природы, нуждающийся, однако, в серьезных пополнениях и реконструкциях.

Популярность Самаркандинского музея велика не только среди академических кругов, но и среди широких масс населения. Насколько такое утверждение обосновано, легко проверить по книге фондовых поступлений. Музею дарят множество вещей; во время войны было получено большое число драгоценных посылок с трофейными вещами, коллекциями немецких денег и марок, с фотографиями, образцами оружия, монет, медалей, орденов, аксессуаров немецкого обмундирования и т. п. нужных музею „говорящих“ предметов.

Искусство, говорил Ленин в беседе с Кларой Цеткин, „должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их“. „Открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства“, — требовала коммунистическая партия на XV съезде 1919 года. Думается, что Самаркандинский музей, являющийся серьезной научной базой и учреждением, ведущим большую культурно-просветительную работу, популяризируя все самое ценное, самое дорогое и значительное, созданное народом, вполне удовлетворяет этому требованию партии, правительства и народа.

М. ВЛАДИМИРОВ

МАСТЕР АКВАРЕЛИ

Полвека назад приехал в Фергану Петр Максимович Никифоров, ныне известный не только в нашей республике, но и за ее пределами как талантливый мастер пейзажа и архитектурного этюда Средней Азии. Бывал он после этого на Украине, в Белоруссии, но больше всего ходил и ездил по городам и кишлакам нынешнего Узбекистана и смежных с ним районов Туркестана; он живо воспринимал мастерство строителей Коканда и Самарканда, великолепие природных красот Алайского хребта, стремительность бурных, пенящихся горных потоков, всматривался внимательными, видящими глазами в жизнь степей.

Художник искат совершенное, благородное, возвышенное, умел находить его и поделиться с другими, сказать нищим дехканам, что жизнь безжалостно обделила их, что жить надо совсем по другому. Его этюды как бы обретали дар речи, в них отчетливо слышался голос художника: оглянитесь вокруг, как хорош, как светел этот мир и как мало светлых красок в жизни единственного его хозяина — простого человека. Вот этюд „Нищие у подъезда к мазару“. На одном листе, лицом к лицу, в самом близком соседстве — вздыбленные скалы, которых коснулось золото первых лучей, озаренная солнцем, ходящая в высь дорога, крепкий ствол карагача, который легко держит на себе могучую шарообразную крону лиственного убora, и две людские фигуры в сторонке, в тени, с протянутой рукой. Это был открытый вызов, который не оставлял места для двусмысленностей: протестовала сама природа. Наброски этого этюда Петр Максимович Никифоров сделал сорок лет назад...

С природой — величественной и простой — художник стал неразлучным другом. Эта вдохновенная любовь к природе обнаруживается не только в самобытных, свежих пейзажах Никифорова, но и в многочисленных архитектурных этюдах. Изображая памятники зодчества, художник почти непременно выбирает в качестве активного компонента живую природу: дышащие деревья, неуго-

мойный ручей, палищее солнце или закатный бағранец, а порою и соседнее ущелье, в котором, кажется, на глазах что-то еще перемещается, что-то стремится на свет, на простор. Архитектурные этюды Никифорова от такого приближения памятников старины к живой жизни приобретают особый художественный смысл.

Дружба с природой наблюдательного художника и тонкого мастера пейзажа — Никифорова отражена в десятках его работ, исполненных всякий раз с предельной убедительностью, без претензии на внешней эффект, а иногда такими скромными красками, что кажется удивительным, каким образом этюд заговорил языком поэзии. Такова, например, акварель «Знойный полдень» — виешне особеннодержанная, но передающая настроение так же полно, как и акварели, воспроизводящие величавые горные ландшафты.

Большинство этюдов Никифорова сделано с натуры и едва ли не каждый снабжен точными сведениями о времени и месте, с которым он родственно связан. Это придает работам художника конкретно-познавательную ценность, во многих случаях они — страницы истории, потому что, к примеру, открытая площадка, затерявшаяся среди шахимарданских гор и отмеченная художником на акварельном листе всего только десяток лет назад, теперь уже не та. Жизнь существенно подкорректировала пейзаж, и на этой самой площадке дерновинко выросли среди гор капитальные здания одной из лучших здравниц Узбекистана. Голая степь, запечатленная художником близ Ферганы в 1926 году, покрылась крупнейшим фруктовым садом, питающим консервную промышленность республики. Это не один, и не два случая. Это поступь жизни. Это — красота созидания. Художник, если можно так выразиться, переиздает свои пейзажи, пишет их вторую страницу. Он показал шахимарданский сапаторий, молодой рабочий городок у Кадамжайского ущелья, молодые многогектарные урочинные сады... Приходится только пожалеть, что еще очень немногое из того, что связано с нашим великотепицем сегодня, показано художником. И новый человек наш, подобно сказочному богатырю распрашивший плечи и сбросивший с себя неволю, великий труженик, которому как раз подстать могучая красота природы, тоже, к сожалению, не часто находит себя в работах Никифорова. И отрадно, что в последнее время П. М. Никифоров трактует современную тему чаше, чем делал это до сих пор. Творческие планы ближайшего будущего составляются из пейзажей, связанных с Большим Ферганским каналом, с преобразованием Ферганской долины в край, оснащенный передовой социалистической индустрией.

Нынешний год отмечен в творческой биографии Никифорова выдающимися событием: его акварели показывались в столице нашей родины — Москве. Две недели продолжалась выставка художника в Гослитиздате, и многочисленные посетители оставили о его творчестве теплые отзывы.

Художник Н. Ильин назвал акварели ферганского мастера поэтическими, а архитектор из Свердловска Антипин отметил высокую эмоциональность этюдов Никифорова и важное их значение

для истории архитектурного искусства. Поэт В. Луговской назвал пейзажи верными, прозрачными, благородными. Большая любовь к стране, к ее природе, быту, искусству,— пишет В. Луговской,— делают акварели Петра Максимовича Никифорова исключительно ценными для понимания Узбекистана. Краски чудесны, глаз острый, внимательный".

Лауреат Сталинской премии, автор проекта Дворца Советов, академик Иофан, близко познакомившийся с творчеством художника, отметил: „Собранный П. М. Никифоровым богатейший материал в виде акварелей рисунков, орнаментов, помимо его собственно художественной ценности, представляет огромный интерес для развития истории культуры и строительной техники узбекского народа и истории архитектуры всего Советского Союза. В частности, собрание орнаментов П. М. Никифорова может быть использовано при создании орнаментов Дворца Советов".

Труд художника получил высокую оценку. Около 50 работ Никифорова приобретены Музеем восточных культур, Академией архитектуры, Государственным литературным издательством. До 30 его акварелей отобраны для готовящейся к изданию антологии узбекской поэзии.

Думается, что об этом признании лучше всего сказать словами самого Петра Максимовича Никифорова:

— Москва — центр всей советской культуры, — предоставила ферганскому художнику возможность рассказать о своей скромной работе. Это взволновало меня до глубины души. Я считаю для себя высшим счастьем показать черты необыкновенной и прекрасной страны нашей, в которой истинной красотой признан труд человека.

С. ЛИХОДЗИЕВСКИЙ

ПОЭТ-РЕВОЛЮЦИОНЕР¹

Посвященное А. М. Горькому стихотворение Лахути „Три капли“ в форме старинной притчи передает разговор трех капель: капли трудового пота, капли крови и капли „мурракаба“ (чернил). Капля пота говорит:

Прозрачна я, во мне и цвета нет,
Но, как звезда, я излучаю свет.
Во всем, что создал в мире человек
И будет создавать из века в век,
Не малая есть доля и моя,—
Людские все дела творю и я.
Я — самый дивный самоцвет.

В разговор вступает капля крови:

Я пламя, я булат, я солнца жар,
Я — кровь борцов, готовящих удар,
Чтобы заставить мир насилья пасть,
Чтобы вручить рабочим людям власть.

Признавая правоту собеседниц, соглашаясь с ними, капля черных чернил, в свою очередь, замечает, что поэзия призвана воспеть героические подвиги борьбы и труда:

Рабочую я наставляю рать,
Как надо бить, как надо побеждать.
Я — армия трудящихся всех стран,

¹ Лахути. „Избранное“. Под ред. К. Липскерова. Государственное издательство художественной литературы. Москва. 1946.

Я — нападенье их на вражий стан.
Истица я и вместе с тем судья,
И обвинитель, и защитник я.
Я — крик отчаянья, я — стон мольбы.
Я — вдохновитель праведной борьбы.

(Перевод О. Румера)

Стихотворение утверждает нерасторжимый союз трех капель-собеседниц. Оно вместе с тем с небывалой полнотой определяет характер, тематику поэтического творчества Абулькасима Лахути и может рассматриваться как его поэтический манифест. Борьба за освобождение трудящихся из-под гнета капитализма, самоотверженный труд раскрепощенных социалистической революцией народов СССР и роль поэзии в освободительной борьбе человечества — таковы три главнейших проблемы, которые волнуют Абулькасима Лахути на продолжении всего его творческого пути.

Абулькасим Лахути, один из видных современных советских поэтов, родился в Керманше (Западный Иран) в 1887 году. Здесь, в Иране, и развертывалась его революционная и поэтическая деятельность. Жестокие репрессии реакционных иранских властей обрушились на широко популярного в народе поэта и революционера. С болью в сердце за судьбу своей порабощенной родины, Лахути вынужден был покинуть Иран, чтобы испытанным оружием поэзии продолжать борьбу за освобождение стран Востока из-под гнета империалистов.

Первый раздел рецензируемой книги посвящен борющимся Ирану. Наиболее ранние стихи помечены 1909 годом. Это поэтическая летопись народных движений: героической обороны Тавриза революционными отрядами во главе с Саттарханом в 1907-1909 гг. („Исполненное обещание“, „Край разорен“) и революционного похода на Тегеран (стихотворение „Два ордена“ из второго раздела книги), гилянской революции 1920-21 г.г. („Смерть революционера“, „Шамсе Кесмаи“) и организованного Абулькасимом Лахути в 1921 году тавризского восстания („Пятнадцатилетие“ из второго раздела).

Замечательная газель „Край разорен“ (1909) направлена как против „гяуров“ — империалистов, так и против их иранских агентов — „муслимов“-реакционеров:

Край разорен, — когда он снова расцветет, как сад, не знаю,
Муслим или гаур в его несчастьи виноват, не знаю.
Твердят на разные лады все о любви к своей отчизне,
Но любят ли её, иль только о любви кричат, не знаю.

(Перевод О. Румера)

Поэт клеймит отвернувшегося от народа визирия, бесчестного депутата-предателя, торгующий родиной меджлис.

Революционное мировоззрение поэта-борца определило прямоту и беспощадность его поэтических высказываний. Интересно, что эта газель была перепечатана демократической иранской печатью в период мощного демократического движения в 1942 году (т.е. через 33 года после ее написания) и имела широкий общественный резонанс, что свидетельствует о политической актуальности и художественной силе поэзии Лахути.

Революционным патриотизмом насыщена газель „О свет и ясности..“ (1914), призывающая к борьбе против иностранных по-работителей:

Востока солнце — ласковая мать,
Коварных много лишь детей Востока!
Ты, продающий недругу Восток,
Что, низкий, купишь ты ценой Востока?
Сплотись, родной народ, и поднимись
На чужеземных палачей Востока!

(Перевод И. Бану)

Ряд стихотворений рисует подневольную жизнь иранских трудащихся („Исаи, разносчик хвороста“, „Осел и седло“ и др.). Ведущей темой всего раздела является тема революционной борьбы, прославление революционера, отдающего жизнь за счастье народа. Реакция временно восторжествовала, но революционный оптимизм поэта-изгнанника неколебим. В „Ответе Ромену Роллану“ Лахути пишет:

Твое письмо, предвестник счастья,
дало моим желаниям крылья,
В его дыханье я почуял
свободы ветер огневой,
Твой голос прозвучал трубою,
привозгласившей день восстания,
Чтоб революции дружинны
бесстрашно устремились в бой.

(Перевод В. Левика).

С 1922 года Лахути живет в СССР. У нас он обрел свою вторую родину, и его поэзия обогащается пафосом социалистического строительства, идеями великой дружбы народов. Произведения, написанные в Советском Союзе, распределены по трем остальным разделам книги: второй раздел объединяет стихотворения довоенного периода, третий раздел посвящен периоду Великой Отечественной войны, в четвертом собраны поэмы.

Титаническая борьба советского народа за построение социализма определила тематическое богатство поэзии Лахути, прославляющего счастливый путь, вернейший из путей, советский

путь трудящихся людей". Сталинская Конституция и оборона страны, индустриализация и колхозное строительство, дружба народов и социалистическое соревнование, покорение природы и расцвет социалистической культуры — эти существенные темы советской действительности нашли свое воплощение в поэзии Лахути. Создательный труд героев социалистической промышленности и колхозов находится в центре внимания поэта. В поэме "Сила СССР", звучащей как могучая торжественная симфония, читаем:

Захочет, — и молнию смело навьючит,
Потушит вулкан навсегда.
Послушен ей ветер, и служат ей тучи,
И волн ей покорна гряда.
Ты знаешь ли ими той силы могучей?
То сила людского труда!
И разум и воля той силе даны,
И слух у ней чуток и мысли ясны.
Глядит она зорко и действует смело
И все, что захочет, свершает умело.

(Перевод Ц. Бану.)

Благотворная, преобразующая сила идей Великой Октябрьской Социалистической революции особенно ярко раскрыта в произведениях, отражающих социалистическое строительство в советских республиках Востока — Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане. В этом ряду находим поэмы "Корреспонденция", "Железные ноги", "Венец и знамя", "Два ордена", стихотворения: "Разговор двух городов", "Пятнадцатилетие", "Узбекистан", "Мост через Вахш", "Бадахшан" и много других. Поэт рисует формирование социалистического сознания тружеников хлопковых полей, для которых труд стал делом чести, доблести и геройства и которые "иных лжеученных куда ясней социализма суть разглядели".

Идеи советского патриотизма и защиты социалистического отечества от фашистского нашествия оплодотворяли поэзию Лахути периода Великой Отечественной войны. Здесь выделяются стихотворения: "Городу Ленина", "Наказ узбекской матери", "Сказание о Мардистане" и "Победа Тани".

На стихах Лахути всегда лежит печать творческого своеобразия. Оно сказывается не только в виде широкого использования популярных канонических форм восточной поэзии (газель, робайят и т. д.), но и в частом обращении к традиционному зачину восточного сказа. Так, стихотворение "Пахлаван Ошти" начинается притчей о богатыре Пахлаване Ошти, который выступает в роли проводника гостя своей матери. Будучи по своей натуре человеком добрым и миролюбивым, он тем не менее решительно расправляется со сбродом негодяев, препядивших ему путь. Притча — исходный пункт для реализации основной идеи стихотворения:

Ты, Лениным воспитанный итенец.
Ты сталинский прославленный боец,
Ты мысль мою, наверно, угадал,
Свое лицо ты в притче увидел,
Носитель чести, мира, правоты,
Приказу сердца ныне внимашь ты.
Приказ гласит: „Меч на врага взнеси,
Свою страну от гибели спаси...“
Мать-родина сама зовет сейчас,
Чтоб ты ее от злодеяний спас.

(Перевод С. Шервинского).

Этот же прием использован и в других произведениях.

Особо важное значение приобретает поэма „Путешествие в Фарангистан“ (1935), передающая впечатления советского человека, посетившего европейскую капиталистическую страну и трезво оценившего сущность буржуазной „цивилизации“, буржуазной „свободы“ и „равенства“. Абулькасим Лахути перекликается с лучшим поэтом советской эпохи Владимиром Маяковским, когда пишет:

И заблестел от гордости мой взор,—
Что я не жалок, не убог, не хвор,
Что мир свободы — родина моя,
Что в лучших благах утопаю я,
Что миллиардам женщин и мужчин
Надеждою — моей страны почин,
Что я наук, богатства властелин,
Что я страны советской гражданин.

(Перевод С. Шервинского)

Большевистская идейность и партийность отличают и те произведения Лахути, которые трактуют проблему „о месте поэта в рабочем строю“. Тема поэзии и поэта глубоко волнует Лахути — уже один перечень поэтов, которым адресованы стихотворения — послания Лахути, красноречиво свидетельствует об этом: народный поэт Белоруссии Янка Купала — („Октябрь и певец“), украинский поэт Павло Тычина („Павло Тычине“), казахский акын Джамбул („Джамбулу“), сказитель Ахмат Нураев („Слепому сказителю Ахмату Нураеву“). Сюда же следует присоединить стихи, посвященные классикам литературы народов СССР: „Счастливый Руставели“, „На берегу Днепра“ (о могиле Т. Шевченко). Есть, наконец, в книге Лахути особая поэма „Гора и зеркало“, призывающая поэтов к отражению в поэзии величественных подвигов советского народа, к раскрытию „смысла нового века“. Слияться с народом, жить его интересами, прославлять его героические дела, быть глубоко идейным и по-больше-

вистски принципиальным, учить, „как надо быть, как надо побеждать,” — вот круг задач, стоящих перед советским поэтом. И эти требования Абулькасим Лахути с полным успехом реализует в своем поэтическом творчестве.

Книга „Избранное“ дает советскому читателю широкое представление о славном тридцатилетнем творческом пути Абулькасима Лахути, поэта-революционера. Произведения в книге расположены по хронологическому принципу. Отбор стихов следует признать вполне удачным: тематическая многогранность поэзии Лахути и жанровое разнообразие (от большой поэмы — до эпиграммы-эксромпа) выгодно отличают книгу.

Переводы сделаны квалифицированными силами (С. Липкин, Ц. Бану, С. Шервинский, О. Румер, В. Левик, Г. Шенгели, Л. Пеньковский, К. Лискеров, А. Глоба, А. Кочетков, Б. Лапин и З. Хадревин).

В заключение следует отметить общую высокую культуру издания.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Государственный гимн Узбекской Советской Социалистической Республики	1
A. Каффар. „Два чинара“. Роман. Продолжение. Перевел с узбекского Н. Иашев	5
Рамз Бабаджанов, Дж. Шарипов, А. Мухтаров, Мирмухсин, Янгин Мирза, Шукурулла. Комсомол. Стихи. Перевела с узбекского С. Сомова	26
Содык Каландар. Мы на Урале. Повесть. Продолжение	31
Михаил Быкалов. Однополчанину. Стихи	45
Тураб Тула. Весенние этюды. Перевел с узбекского Н. Иашев	46
Шукурулла. „Два стихотворения. Перевел с узбекского Мих. Быкалов	61
Мирмухсин. Мальчику. Стихи. Перевел с узбекского Мих. Быкалов	62
Янгин Мирза, Замира. Стихи. Перевел с узбекского Мих. Быкалов	63
Ал. Шмаков. Молодые побеги. Очерк	64

СТАТЬИ

К. Новоселова. Хранилище сокровищ культуры	68
М. Владимиров. Мастер акварели	78
С. Лиходзинский. Поэт-революционер	81

ЧАСТЬ

РЕДКОЛЛЕГИЯ: М. АЙБЕК, В. В. ЕРШОВ, С. А. ЛЕВИТИНА,
В. А. ЛИПКО, С. А. МАЛЬТ, Т. САДЫКОВ, С. А. СОМОВА,
М. И. ШЕВЕРДИН (отв. редактор), М. ШЕЙХЗАДЭ.

Адрес редакции: „Звезда Востока“: Ташкент, Первомайская, д. № 20.
Телефон 3-38-81

Подписано к печати 4/VI 1947 г., Печ. листов 5,5. изд. № Тираж 4000 экз.
Цена 5 р. Зак. 1187 Р 04628. Изд. № 407.

Типография изд-ва „Пр. Вост.“ и „Кызыл Узб.“, г. Ташкент, ул. Дзержинского, 8

Цена 5 руб.